

ВЕРОЧКА

На мысль о Верочке меня наводит хрупкий лесной цветок, за что-то получивший нескладное имя, которое не хочется повторять, – нежные белые точки, снежинки, зацепившиеся в сырой лесной тени... Среди невидимой паутины и тончайших трав, только изредка, солнечным взблеском выдающих свое бестелесное существование. Здесь, должно быть, стояла Снегурочка... и печальный, отрадный выдох усталости, предчувствующей скорый конец, опустился и замер в зеленом сиянии утреннего леса. Конец... Покой...

Нет. Верочка на Снегурочку не похожа. Разве что смирением. Тайным знанием о себе чего-то... Впрочем... Да. И смирение было совсем другое. Верочкино смирение – опущенные глаза и стянутые гордостью виски. Верочка была некрасива.

Оленька, Ольга Васильевна, как-то сказала мне, что у Веры Вячеславны есть давние фотографии – и детские, и юношеские, но она их не любит и не показывает никому. И действительно, когда много лет спустя Вера Вячеславна достала из комода четыре альбома и еще небольшую коробочку с фотографиями, среди них не оказалось ни одной, где она была бы моложе пятидесяти лет. Она охотно помогала мне выбрать нужные. Ее почти не удивило то, что я хочу писать эту картину. Кажется, даже довольна была.

– Сейчас я найду, есть одна... Племянник сделал... Он во ВГИКе учится...

Было странно слышать от нее слово “ВГИК”, и потом еще она вспомнила о какой-то родственнице своей, Кате, о муже ее, который “впоследствии стал большим начальником”.

Жаль, что я тогда не разговорила ее. То есть она рассказала много – о Татьяне Леонтьевне, о Кирилле и его жене... Тогда-то я и узнала, что Кирилл ей не племянник, а всего лишь сын подруги, Аннушкин сын. “Всего лишь” – здесь не подходит. Аннушка была нежнейшим другом. Она умерла в пятьдесят лет. От кровоизлияния в мозг. А у Кирилла давление 190 на 100... Он очень боится инсульта... Ему бы ребенка хоть до школы дотянуть. Она показывает мне Рыжика в ванночке, Рыжика в манеже, Рыжика в шубке. Рыжика с Кириллом. Совсем старый Кирилл. Похож на деда. И любит ребенка надрывно и умиленно, как обычно любят внуков. У Кирилла есть и внуки. Двое. Но он их не знает. Так Леночка мстит ему за то, что он оставил их с матерью ради молоденькой бездарной студентки.

Чувствуется, что Леночка уже совсем чужая Вере Вячеславне. Но она ее не осуждает. Ведь это так понятно... Тем более, что Леночкина мать умерла через год после развода. Но кто знал?

Да если бы и знал... Разве мог устоять Кирилл Викторович, краснолицый, белобровый преподаватель, от которого лучшие ученики уходят, разбегаются, начиная с третьего курса? Пишут заявления к Черновой, к Эйдельману, даже к Рамазанову – совсем уж непонятно! Рамазанов такой же исполнительный и неудачливый педагог, раз в год дающий сольный концерт. Бесплатно. В Доме учителя. Афиши – за свой счет. К третьему курсу и Джемма разобралась бы во всем этом. И в том, что Кирилл Викторович простоват, и в том, что музыкант он бескрылый, а на концерты его приходят родственники, все еще видящие в

Кирюшеньке вундеркинда. “Такой милый! Скромный какой! А техника-то! Техника! Прямо не верится! Кажется, недавно... в коротеньких штанишках...” И цветы, цветы... Джемма не успела разобраться, от кого цветы...

Она ничего особого не предпринимала, но уперлась в своем каменном, истеричном нетерпении стать женой педагога, пианиста, “практически молодого”.

Джемма... Когда моя сестренка была маленькая и два раза в год приходила к Вере Вячеславне сдавать “экзамен”, по всей комнате были развешены, расставлены фотографии Джеммы, такие же неуместные, как стоящая на этажерке моя собственная фотография с сестренкой. Я не любила эту фотографию. Она казалась мне искусственной, потому что я сама была еще ребенком...

Мы с сестрой стоим на тумбе, рядом, за руки. И обе симметрично приподнимаем уголок подола коротеньких белых платьиц. Мне восемь лет. Я улыбаюсь, покорная непонятной взрослой причуде. Моя сестренка улыбается старательно, старательно тянет подол, подражая мне. Ей третий год. Она почти лысая. Огромный бант укреплен на голове с помощью нитки... “Две сестрички! – тихо и горячо восхищалась Вера Вячеславна. – Две сестрички!” Она несколько раз в течение урока доставала карточку из сумки и снова благодарила маму, и почти не засыпала, пока сестренка играла Черни.

И раз, и два, и три, и четыре – и...

Она меня чем-то утомляла. Может быть, неуместностью... Во всех ее ужимках и словах мне мерещилась допотопность, от которой в нашей тесной комнате становилось совсем тесно. Ее крахмальная вежливость натывалась на все наши раскладушки и чемоданы...

Но какой гибкой и ловкой она оказывалась среди своей собственной тесноты! Тут уж неуместными были мы. В небольшой ее комнате, с высокими узкими окнами, мучительно узкими и высокими, с вечной путаницей тенистых темных цветов на подоконнике...

И сразу включали лампу – низкий абажур чуть не касался стола, ярко высвечивая белую скатерть в центре комнаты, а углы так и оставались в полумраке. Малиново-серый полумрак таил золотистые лики икон, лампадку за ширмой, узколицую женщину с мальчиком, военного, похожего на царя, даму в саду на лавке, девушку в шляпе под деревом (эта была попроще, и я посматривала на нее, ища поддержки). Солнечные блики плыли по ее лицу и платью... Мне казалось, что я когда-то встречала ее. Остальные выглядели строгими, как статуи, будто не было вокруг них ни солнца, ни деревьев, ни даже просто воздуха, и картон фотографий был строго пожелтевший и сухой. “Потому что они – аристократы”, – думала я.

Я испытывала к ним что-то такое... смесь восхищения и враждебности. Но враждебность рождалась не во мне, это был ответ на их презрение. Они не замечали меня, смотрели сквозь меня, потому что я – еврейка. Я говорила себе: ведь это – фотографии... они не видят меня... и все же почему-то я видела в них живых! Может, виной всему был этот самый густой и ощутимый, как вода, полумрак, он наделял жизнью каждый затерявшийся в нем предмет. Затерявшийся в тесноте, во множестве других предметов: рамок, лиц, засохших пыльных цветов, лиц, рамок, треснувших вазочек, надбитых статуэток, засохших цветов, замерших в колючем напряжении или, наоборот, усохших в покорности, с поникшими шеями... так увядают розы – розы, которые сникают сразу, как только их вносят в дом с жары или с холода... но они не теряют лепестков. И я думала, что в этой комнате собрана вся ее жизнь, все цветы, которые ей дарили в жизни, потому что, когда мы приносили цветы, их никогда не ставили на место увядших. Извлекали из неразличимых дебрей на этажерке, на пианино еще одну замысловатую вазочку с отбитой ручкой и...

“Оленька, будь добра!”

И наши цветы вливались в полумрак, отделялись от нас, хотя... Нет, временами и мы вливались, но не сами, а только наши прозрачные платица на кружевных чехлах, как ангельские облачка в оборках... и локоны, и белые банты. И все восхищались нами.

Из кра-ая в край
 Впе-ре-од и-и-ду
 И мой сурок со мно-о-ю...

Нет. Пожалуй, временами, и мы... Я даже переставала чувствовать себя собою, это не мой был голос, не мои банты, не моя сестра. Играла девочка, маленькая, а другая пела – “Подайте грошик нам, друзья...” – старую песенку, из прошедшего детства. И становилось страшно застрять случайно, увязнуть там, в прошлом, и голос дрожал испуганно на верхних нотках – “нам за-автра сно-ова в путь пора” – даже обязательно! Мы никак не можем остаться! Нам надо к себе, по выбитой досуха дороге, вперед, вверх на монотонно набирающих высоту аккордах... Раз – два – три, раз – два – три. Смешные цыплячи пальчики, мокрые от волнения и случайно передающие печальную и покорную натугу этой ходьбы...

“Верочка, голубчик, обрати внимание на левую руку. Она очень низко опускает кисть. Может...”

А вообще-то мы всем нравились. Сестренке всегда ставили “пять”. Меня тоже за что-то хвалили, и все смотрели, ласково щурясь, не то издали, не то в даль... Что-то там видели... локоны, оборки... Нас? Не нас? Может, и нас? Сестренка, во всяком случае, чувствовала себя совершенно естественно. Бра-ла со стола конфеты, пила чай, расхаживала по комнате, заглядывая во все углы, пока другие дети играли свои этюды, сонатины, ригодоны. И, бросив безмятежный взгляд на сконфуженного папу, снова оборачивалась к стене и разглядывала фотографии, и засохшие цветы, и надбитые статуэтки. Выпятив от увлечения круглый животик и по забывчивости ковыряя в носу... Будто так и надо. Будто все для того и развесили, чтобы она смотрела. А для чего же тогда? Ни для чего. Эти вещи, эти люди, эти цветы жили тут. Доживали в густом полумраке свой девятнадцатый век...

“Очень хорошая девочка! И играет хорошо, и нарядная, только вот папу не слушает. Не может посидеть спокойно полчаса...”

“Что ты, Иринushка! – Вера Вячеславна мягко, но горячо бросалась на защиту. – Она же совсем маленькая! Ей нет еще и шести! Она, Иринushка, просто росленькая такая!” – и сразу утихала, успокоенная, переводила взгляд с одной на другую. “Две сестрички!” – “Ах, ну раз так, тогда...” И я тоже успокаивалась, хотя сама-то и не оправдывала сестру. Пусть бы ей и всего четыре года было! Разве не ясно, что за ширму заглядывать нельзя? Если бы можно, зачем тогда ставить ширму? Да. Но себя я осуждала еще строже. Я тоже заглядывала. Но все-таки украдкой! Не стояла, вытарашась прямо в лицо сердитому богу Веры Вячеславны. Их там, за ширмой, было три. И все сердитые. Сердились, конечно, на меня. Разве стала бы Вера Вячеславна держать их над своей кроватью, если бы они и на нее так же жестоко и холодно глядели? Конечно, нет. Это я была чужая, враждебная – и русский бог меня не любил. Ему не нравилось, что я смотрю, и я быстро отводила глаза, притянутые таинственным золотистым светом. Конечно, лицо его менялось. Да я и сама видела это не раз своими глазами! Почему у меня не было своего бога, который мог бы меня защитить?! Лицом в лицо упереться с этим, неприступным! Все были против меня! Даже вазоны на окнах! Даже чай! Даже портреты Джеммы на стенах! Джеммы, нахально демонстрирующей свою “старинную” красоту. Так говорили старушки – подруги

Веры Вячеславны. “Старинная красота”. А с их мнением все очень считались. Они были “в высшей степени интеллигентные и образованные женщины”. Так говорили мои родители и родители других детей. И еще! Одна из них прихотилась тетушкой самому Рихтеру. Я долго не знала, какая именно, потому что стеснялась поднять глаза.

Тетушкой оказалась Ольга Васильевна, Оленька. Не уточнялось, какова там степень родства. Я ни разу не слышала, чтобы Рихтер их навещал. Впрочем, они бывали на всех его концертах. Впрочем, они на всех концертах бывали. Я встречала их непременно... Но это уже позднее. А в то время для меня не было разницы между Рихтером и Кириллом Викторовичем.

Кирилл Викторович приезжал в наш город каждый год. И это был самый ответственный экзамен для учеников Веры Вячеславны. Кирилл Викторович слушал, делал замечания, Вера Вячеславна советовалась с ним. Когда мама рекомендовала кому-нибудь Веру Вячеславну, она говорила: “Раз в году ее учеников прослушивает преподаватель Ленинградской консерватории Алексеев.” И еще... Но и об этом позднее...

Кажется, в первый раз Кирилл приезжал с Леночкой. Должно быть, это она сидела со мной рядом, за столом, и нам обеим, хоть мы и не играли, дали “призы”: маленькую чашечку с тонким рисунком и шоколадную конфету с приклеенным к обертке плюшевым зайчиком. Где только Вера Вячеславна доставала эти замысловатые и трогательные мелочи?! Я увидела этих зайчиков и почувствовала, что просто не смогу дальше жить без такого! Я страшно, отчаянно пожалела, что не стала учиться музыке, и тут – мне протянули зайчика. Не знаю, кто: я не решилась поднять глаза. “Это тебе за то, что ты хорошо поешь...” И тут же – Вера Вячеславна: “А как она рисует! Такая, право, умница! Жалко, что альбом не захватила! Обязательно возьми в следующий раз!” Про стихи она ничего не сказала. Заметила, как багровеет от стеснения мое лицо? Забыла? Сначала я обрадовалась, потом огорчилась. Я знала, что ей не могут нравиться мои стихи. Она их читала вежливо и вежливо хвалила... В “Советском человеке” исправила ошибку...

Я гордилась своими стихами, но ни за что не стала бы читать их в этой комнате. Особенно то, самое удачное: про пионерку, которая “чуть что взывает к богу”. Саркастическое! гневное стихотворение. В котором я клеймила... себя. Но это была тайна.

Я целый год ждала следующего экзамена, я решила поговорить с девочкой из Ленинграда, с Леночкой, но Леночки больше не было, а появились новенькие – как лаковые! – фотографии Джеммы. И много говорилось о Джемме, какая она красивая, красавица, красавица!.. И над дверью висел большой портрет женщины в платье с большим вырезом, с напряженно повернутой к плечу головой, ее шея – от затылка до плеча – была проведена одной линией, на затылке – пышный гладкий узел, а с виска, через щеку вниз, спиральки-завитки. Собственно, и я находила ее красивой. И даже очень красивой. Но мне казалось, что им, им всем она не должна нравиться! И даже точно – не нравится! Но они скрывают и потому-то навешали, наставили... Ну а если навешали потому, что она им нравится как раз?! Ведь мне же нравится! Нравится... А, может, и нет! Выгнула шею! тоже мне – графиня! Вовсе и нет! Притворяется. Чужая она этой комнате и этому богу, хоть и... своя...

Может, все дело было в слове. Джемма... Слово было романтическое... Не хуже, чем Анжелика – любимое имя в нашем дворе. Подруга Овода – Джемма... Оно еще напоминало слово “джем”, и кудряшки стекали по лицу, тягучие, сладкие и шершавые, как клубничный джем. Или я просто приревновала: прежде хвалили меня, обо мне говорили “старинная итальянская красота”, а теперь хвалили Джемму. Принято было непрерывно хвалить Джемму... И я злорадно лелеяла в

памяти сорвавшееся у Лидии Михайловны замечание. “Я рада, что это ожерелье ей так понравилось, но она надевает его поверх свитера! Как это можно? И вообще должна вам сказать: после семнадцатого года я перестала что-либо понимать.” – “Семнадцатый год тут ни при чем, – тихо рассмеялась ей в ответ Вера Вячеславна. – Это двадцатый век”.

Двадцатый век... Я тоже не понимала, почему так плохо надевать ожерелье поверх свитера.

При чем здесь это? Вся эта суета... Но ведь она – часть Верочкиной жизни? Или нет? Это какой-то поверхностный сюжет ее жизни, клубок разговоров и событий, из которого я всегда выделяла ее нетронутой, замкнутой и сосредоточенной. Как травинка в лесу. Она неподвижно собралась в себе, тонкая до незаметности, как зеленая волосинка земли, дыбом поднимавшаяся от благоговения. Высокая, высокая, выше человеческого роста! бестелесная, чудом несущая свой колосок вверх, вверх.

* * *

И еще зимой... В самом начале зимы, когда однажды серой тончайшей коркой возьмется поверхность лужи перед домом, и кажется – тронешь ее – и она прогнется или пленкой, пенкой потянется за пальцем, но она не поддается, а хрустнув беззвучно, сдвигается, стасовывается плоскими стеклянными осколками-картами, картами, не дающимися в руки, она не выносит прикосновения... Когда такое было? Не помню. Давно. А вдруг возшло, ощутимо и ясно, и захотелось писать о Верочке. Почему-то представилось: узкий носок ботиночка, туго и высоко зашнурованного... вот так... раздумчиво и бес-смысленно коснулся ледяной незримой корки и непоправимо стронул ее... И еще мерещилась тень гимназиста... он что-то не успел высказать, досказать ей или себе самому... и пошел провожать ее... и все говорит, иногда останавливая на ней чуть недоумевающий взгляд: кто это? ах, она... “Я некрасива”, – покорно говорит себе Верочка. Сейчас он выложит, построит, окончательно утвердится в своей мысли – и уйдет... Точно так же он говорил бы с деревьями и статуями, задавая вопросы и не дожидаясь ответов. Точно так же недоуменно останавливал бы на них взгляд, на секунду, без тепла и интереса... “Я некрасива!” – вскрикивает про себя Верочка. И давно следовало бы попрощаться и уйти в дом, но она все стоит, опустив глаза и высоко подняв длинные бесцветные брови... И раздумчиво касается примерзшей лужи узеньким носком ботинка... Внезапно он теряет нить разговора и вглядывается в скуластое широколобое лицо с длинными губами, напряженно сомкнутыми в каком-то вдохновенном и гордом смирении... Так о чем же он? о чем шла речь? Ах, да! Вот о чем!

Это было в Ленинграде. Вода в Канавке тяжело колыхалась. Скользили, вытесняя друг друга, голубые и коричневые валы. Я все думала о Верочке, о ее юности, прошедшей здесь, существующей дымком, следом, трепетом, настигшим и преследующим меня непрерывно. На улице – за темным окном, за шершавым кружевом мороза, схватившего стекло... И хрустящее кружево рубашки на угловатом худом плече, на жестко выпирающих ключицах, и тонкую золотую нитку на шее, плоское, плотное прикосновение крестика к груди я ощущала, ощущала реально, ее рукой отводила занавеску и вглядывалась в серо-синий морозный мрак... Гимназист уже давно ушел, но она все смотрела туда, где он прежде стоял, и разглядывала его глубокими своими глазами из-под тяжелого старческого лба... Он не нравился ей, но она все смотрела и все повторяла и внушала себе: “Я некрасива. Я некрасива...” Повторяла и не верила, потому что слишком красивы были эта серо-синяя ночь, занавеска и холодная луна, странно высветившая беглые контуры облаков.

Я угадала ее лицо. Я увидела ее – ту, так что даже не стремилась больше найти ее фотографию. Должно быть, ее старались приукрасить. Мать, подруги, сестра. Старались по-особому завить, взбить, уложить непослушные волосы. Навсегда блекло-русые: Верочка не поседела. Так и осталось: русые, прямые, тонкие, но не гладкие волосы. Она закалывала их сзади в узел, а спереди они упорно и жестко высыпались на лоб, на вмятины висков... Она стыдилась себя – и от этого сутулилась, от этого держалась с мужчинами сухо, хотя, я думаю, она могла и нравиться. Но, видно, тогда еще решила для себя, что смысл ее жизни – дружба. В дружбе она была преданна, порывиста и даже сентиментальна, но подруги одна за другой влюблялись, выходили замуж, и ей оставались края, задворки чужого счастья и несчастья, и, наверное, тогда ее длинные губы обрели свою гримасу, свое неповторимое выражение: трогательная готовность к умилению – в треугольном мыске верхней губы, – и от него смелый разлет линий – будто начавшаяся улыбка, начавшаяся, но... вдруг... не изломавшаяся разом, а плавно опавшая, достойная и гордая, как размах птичьих крыльев, далекий силуэт чайки... чайка... “Чайка”... разбитая, несостоявшаяся жизнь. Ей суждена была прекрасная старость! Старость, не избавленная ни от одной из своих тягот, но естественная, как старость дня, дерева, травы... Старость, которая, должно быть, больше всего пугала когда-то ее ясный и трезвый ум... Ей суждена была... И может, поэтому ее старость началась так рано? Ей было немногим более пятидесяти лет, а она выглядела глубокой старухой. Или так казалось мне?

Мне было девять, когда я ее увидела впервые, и с тех пор многие женщины помолодели в моих глазах. Но тут, думаю, было не то. Я ясно помню ее сгорбленную фигурку, старообразную шубу и пуховую детскую шапочку на голове... Если уж говорить правду, я испытывала тогда тяжелое чувство страдающей гадливости. Да и потом мне всегда было стыдно, когда она завязывала под подбородком длинные уши своей серенькой пуховой шапочки, на вид такой же ветхой и невесомой, как вся она, ее кожа, ее сладковатый сухой запах, впалые щеки, грудной голос, не способный набрать силу даже при крайней взволнованности. Да. Вся она казалась мне ветхой... и напоминала о смерти, о мертвецах. Не знаю, чем. Может, этими-то впалыми щеками, виска-ми, впалой грудью, впалыми глазами, с усилением выглядывающими из коричнево-паутиных теней... Она как бы и не видела ничего вокруг, ничего, кроме того, что ее касалось. Проходила через нашу тесно заставленную комнату прямо к пианино... За столом гости – мамы земляки из Каменец-Подольского – ели разогретое жаркое с картошкой, дядя Володя Кринер “пил стопку”, его старый китель висел на месте рыжей шубы. И мама убирала виновато китель, возмущенно бряцающий орденами, и шуба садилась на стул, трижды со-гнувшись, а поверх нее – ложилась шапка и детский же шарфик.

“Ровнее спинку, деточка! Начнем с Ганона”. И – засыпала...

“Вы знаете, – восхищался папа, – она спит весь урок, но обратите внимание: как только ребенок сделает ошибку – она тут же проснется!”

“Я обязательно посмотрю на следующий раз!” – радостно подхватывал при-соловевший дядя Володя, давая таким образом понять, что до пятницы – точно не уедет. А может, просто искренне заинтересовавшись? Глазки его лучились четвертушечным блеском, а четвертушка стояла пустая на окне. К следующему приходу Веры Вячеславны их было там много. Дядя Володя и его сын спали на диване. Мама очень мучилась от неловкости, но Вера Вячеславна тихо прошла на свое место. “Начнем, детка, с Ганона”...

Потом, когда мама объясняла, что дядя Володя жил с ней на одной улице и что семья у них была замечательная, но все погибли, а он вот стал пить, хотя вообще-то добрейший человек и шесть раз был ранен... кажется, Вера Вячеславна ничего не понимала, но со всей горячностью своей безголосой

доброты повторяла: “Конечно! Конечно!” Я думаю, она просто не заметила дядю Володю... Очень ценное качество для человека, с утра до вечера переходящего из дома в дом – “из края в край...” – в коммунальные лабиринты, в щербатые подвалы... “и мой суро-ок со мно-ю...” В то время все вдруг стали учить детей музыке. Хуже-лучше, но люди успели обзавестись пальто и буфетом, вилками и тарелками. Пальто покупалось лет на десять, буфет – на всю жизнь. И – была не была, знай наших! – следующей, самой серьезной покупкой становилось пианино. “Украина” или ветхое немецкое... “Чем мои дети хуже? Пусть учатся!” Хуже – кого? Должно быть, “старой интеллигенции”. Этих самых старушечек, над которыми посмеивались. Передразнивали и... хотели быть “не хуже”.

“Старые барыньки” выходили откуда-то из глубин старых домов в каких-то черных балахончиках, в нелепо-вычурных шляпках, которые находили приличными, очевидно, в силу их ветхости, с черными сумками, свисающими почти до земли, потому что, как правило, старушки были маленькими и сгорбленными и опирались крошечными лапками на черную клюку. Вот так... Все эти вещи казались еще старше их самих; иногда в обтертом бархате ленты, в осыпавшемся бисере кошелька угадывались следы былой роскоши, былой, особой, красивой и неведомой жизни, от которой остались лишь лоскутья да вечный аромат, сладкий аромат шелка, или пудры, или... Ах! Да просто аромат высохшего до бестелесности тела, запах чистой старости, зяблый и мягкий, который соседи, стоящие у парадного, принимали за запах старинных духов. И странно было, как удалось сохранить им эти духи: ведь прошло столько лет, такая война! И странно было: как они пережили эту войну, хрупкие и неуместные, беззащитные, как ночные бабочки... А чем они перебивались сейчас? Куда разбрелись с утра, неторопливо, но решительно, маленькие и согнутые, с черными палками и вязаными сумками, свисающими до земли? Учить музыке детей? Молиться в церкви за умерших родных? Ведь были же когда-то и у них родные?! Не верилось... Но, в самом деле, не появились же они прямо вот такими, ссохшимися, крошечными в какой-то неведомой “богадельне”, где, по моему детскому представлению, бог делал одинокого людей и куда эти люди впоследствии должны были вернуться, хотя очень не хотели возвращаться. “Не задавай идиотских вопросов!” – сердились взрослые, сердились, ибо все, что доставалось их оскорбленному любопытству – была доброжелательная, короткая улыбка и вежливый кивок.

Здесь крылось несуразное раздвоение: жалкие и беспомощные, они должны бы заискивать, даже бояться! Ведь наверняка в их прошлом было что-то... враждебное и чужое нынешней жизни. Об этом строили догадки, выделяли друг перед другом понимающие судейские мины: дескать, пусть уже доживают эксплуататорши, старые чучела... Но и враждебность, и издевки были напускными. На самом деле соседи, по-хозяйски лузгающие семечки и обсуждающие последние новости под парадной дверью дома, скандальные и бойкие молодухи, пожилые всезнающие “хозяйки”, томящиеся от безделья инвалиды – все они пасовали перед этой доброжелательной, но непроницаемой улыбкой, все они чувствовали, как сродни эти черные семянные фигурки городу, его высоким стенам с отсыревшей лепниной, его булыжным мостовым! И каждый ощущал, ясно или неясно, как чужероден здесь он сам, как не принимает его задумчивый и отрешенный воздух этих переулков, и как растворяются они в возвышенном молчании старого города и тихо впускают, вбирают их темные подъезды, укрывают древние кроны деревьев, и безносые атланты привычно взирают на увядшие шляпки, на черные балахончики, обвисающие с узеньких круглых спин... И, тяжело хлопнув за ними, массивная дверь бережно и строго укрывала от посторонних тайный мир, где они становились говорливы и сентиментальны, в меру сил своих деятельны, варили помадку, крахмалили воротнички, доживали свой девятнадцатый век...

“Оленька? Алло! Олюсенька! Это я, голубчик! Это я говорю...”

Мне было суждено заглянуть в их мир изнутри и снаружи. И вот что странно: порой казалось, что, появляясь среди нас, в наших домах, среди наших вещей и проблем, они замыкаются, не желая выказать свое пренебрежение, а, может, и презрение к нашей простоте; мне мерещилась неискренность в их растерянном добродушии. А то вдруг становилось совершенно ясно, что они просто-напросто нелепые и бестолковые обломки, случайно откатившиеся сюда и только благодаря своей слепой, улиточьей глупости способные продолжать существование...

“Кто??? Да я же! Я! Верусенька-дорогусенька! Да. Да, Оленька. Пришла. Да. Да. Еще позвоню, позвоню”.

Я не хотела слышать. Я заходила от отвращения. “Верусенька-дорогусенька!” Надо же! “Дорогусенька!” Я пугалась собственного отвращения и старалась как-нибудь подавить его. Забыть? Не получалось, раз уж слышала... Почему-то рада была, что, кроме меня, никто не слышит. Но что, собственно, страшного? Ну... Может, это сказка была такая, про двух подружек... послушные девочки: Олюсенька-пусенька и... Или так они называли друг друга где-нибудь в гимназии? пылкие девочки в фартучках, с бантами... Но тут не было ни дымки иронии... Они вообще, кажется, были неспособны на иронию. Даже по отношению к нам, с нашими скверными манерами, спешкой, криком, зарождающимся комфортом нового времени, кривым и убого-претенциозным “модерном”... Крайней формой неодобрения было удивление. Такое особое удивление, с невысоко поднятыми бровями и теряющим выражение ртом... Я не выносила на себе такой взгляд и, может, поэтому отказалась заниматься музыкой после первых же двух уроков. Я сразу поняла, что чего-то мне тут не хватает... Дело не в слухе, не в пальцах, не в понятливости. Вера Вячеславна переоценила эти мои качества... Я не осилила тяготину начала, глупость первых пьесок ошеломила меня, это была не музыка, а дурацкое щелканье на печатной машинке, которое вдобавок мне неблестяще давалось. Вера Вячеславна поднимала и даже напрягала брови. “Что же ты, детка, право?! Ведь, кажется, на слух... пусть ты плохо играешь песни Грига, но ведь всегда понятно, что ты играешь, а тут...”

В том-то и дело было: “тут”. Я не улавливала мелодии этих “фитюлек”, а Вера Вячеславна почему-то ничего не объяснила мне толком... Очевидно, мое бойкое брэнчанье “на слух” ввело ее в заблуждение настолько, что она не рассказала мне даже о тактах, и я каждый такт играла отдельно, через паузу... Короче... Короче: я предпочла оставаться “умницей” и “голубчиком”, показывая свои рисунки, фигурки из пластилина... И я по-прежнему пела на “экзаменах”. “Ты пря-а-лоч-ка мо-я-а...” – Вера Вячеславна сама подобрала слова к пьеске Чайковского. Это было французское стихотворение, и она его достаточно ловко перевела.

“Ты пря-а-лоч-ка-мо-я-аа...” У меня выступали слезы от глубокой и нежной печали этой мелодии, от чувства единения: ведь мой голос... это все-таки была я! а не кто-то другой в белом оборчатом платице... Это мой голос дрожал в желтом раструбе света и уплывал в коричневые углы, глядящие множеством глаз, на мгновение утративших свою строгость, пробирался среди цветов, слабо звенящих лепестками, увядшими полвека назад. А может даже, он просачивался на улицу сквозь густую и жесткую листву вазонов, спутавшуюся и разросшуюся так, чтобы навсегда удержать эту комнату в наступившем полумраке, уберечь от уличного любопытства слабый свет, тлеющий внутри. И голова моя кружилась от мысли о прохожем, который приостановился под высоким узким окном и вслушивается в ускользящую мелодию, неясную и мягкую, как этот запах, который все принимали за запах старинных духов... И мне казалось, что сами

они знают об этом прохожем, чувствуют его присутствие за окном, и он объединяет нас еще теснее в это единое, в эту комнату, где чопорные родители ревниво следят глазами за каждым движением своих уставших от темноты и послушания малышей, где маленькая девочка с локонами играет песенку Чайковского, а большая девочка с локонами поет "ты-ы-пря-а-лоч-ка-мо-я-а..."

"Нет! Ну какие прелестные дети! Эти две – самые лучшие!" – "Мурильо!" – "Действительно, Мурильо!" – "Две сестрички! две сестрички..." И они смотрят на нас все сразу, Вера Вячеславна и Ольга Васильевна, и подруга ее Наташенька, и Анна Николаевна, и те две, которых никто не знает по имени, и та, что пришла сюда впервые, седенькая, с черной косыночкой, затейливо вывязанной вокруг головки... И еще кто-то в самом углу. Они смотрят на нас, откинувшись на спинки кресел, или наоборот, подавшись вперед, чтобы лучше слышать... Но есть у них какое-то общее движение, отчего-то слово "соратники" идет на ум, и все это напоминает какую-то картину... Апостолы? Где я видела ее? Да нигде! Здесь же, зимой, в прошлый раз... Или есть такая среди многих голландских, где сидят рядом, широко по горизонтали и смотрят испытующе на зрителя... "Попечительницы ордена"... Вечные лица – и имена, затерявшиеся во времени...

Олюсенька, Верусенька... Что же здесь смешного? Чего стесняться? Не нам ценить, не нам судить их слова. Насколько далек и невероятен мир, с которым они объединили нас своими улыбками, улыбками воспоминания, вечно живого мига, где все оказывается совсем близко, совсем рядом, в едином полумраке – они – и мы; они, высвеченные желтыми вспышками света... Они, один – в дверях, коротко стриженный, и тот, другой, спускающийся по лестнице, узколиций... и мы, моя сестренка, склонившая набок круглое вопрошающее личико: и раз – и два – и... я тоже в белом платице, тоже с локонами, но уже без банта... "Ах, какая прелесть! Ну просто святая Инесса! Только локоны потемнее".

"Ты-ы-пря-а-лоч-ка-мо-я-а..."

"Я Вами очень доволен, Сергей Васильевич! Вы прекрасно играли вчера!"

Он не замедляет шаг, только рука чуть задерживается на белом мраморе перил, и тяжелые глаза без удивления останавливаются на бледном лице мальчишки-первокурсника, тяжелые, опухшие глаза Рахманинова...

Господи! Мы совсем рядом! Мы – в этой комнате, возле заставленного фотографией "Беккера" Веры Вячеславны, и они – на мраморной лестнице Петербургской консерватории... Что он подумал об этом мальчишке?! Я бросаюсь туда, пытаюсь втиснуться в чужое время, что-то предпринять, объяснить ему, что это – Прокофьев! Но кто же посмеет обратиться к Рахманинову? Или просто посмотреть ему в глаза... И Верочка, конечно, тоже опустила голову, крепче прижала к груди плоскую стопку нот и, вытянувшись мертвенно, как монахиня, прошла мимо, в своей кремовой блузке с брошью...

Заметил ли кто-то из них ее? Нет... Нет... Нет... А она? Как она рассказывала об этом – тогда? Дома, за чаем... "Мальчишка!" – Ясная улыбка изумления... "А что Рахманинов?" Нет. Пожалуй, все не так. Пожалуй, она рассказала об этом позднее, когда Прокофьев стал Прокофьевым. Да! Только тогда все это обрело смысл, в воспоминании, когда стало казаться, что только Рахманинов не знал, а она уже знала. Без этого и не было ничего интересного. "Представляете, он встретил Рахманинова в консерватории на лестнице и сказал: "Я очень доволен Вами!..." Иначе все это... Получалась просто наглая выходка, а что за толк рассказывать кому-то о наглай выходке? Воспоминание зреет, вызревает, для него наступает день... И как жаль, что не будет дня, когда новый смысл обретут наши локоны и банты, и дрожащие голоса... Нам не дано. Да и есть ли еще время? Ведь они совсем одряхтели – и Верочка, и Оленька, а

многие совсем слегли. Или умерли. И они больше не являются первыми к началу концерта, не повисают их одинокие шляпки, особо уважаемые строгим гардеробщиком, на пустой вешалке, и не занимают они свои обычные места в одиннадцатом ряду, в проходе... одна за другой, рядышком, как птички, с белыми грудками жабо, кружевные, опрятные, незаметные, обязательные, тихо и радостно приветствуют нас. “Две сестрички! Две сестрички!” – “А ты помнишь, Наташенька, какие кудри...” – “Ну как у тебя дела, деточка, как успехи?”

И я говорю, удивляясь тому, как серьезно звучат мои слова, и ощущая неловкость от этой серьезности, оттого, что мешаю людям в проходе, оттого, что... Да еще спиной, как прикосновение – нетерпеливые взгляды моих друзей: вот, дескать, снова застряла с этими старушками, трогательными, но... сколько же можно? Одно и то же каждый раз: кружавчики, старушечья застенчивость, восторженность, лучащаяся из глубины кресел, из бархатного уюта, обнимающего их, и так явно им приятного, что даже больно смотреть, потому что кажется, что они пришли сюда откуда-то из сырого, рушащегося, дышащего беспомощной ветошью... Ах, да нет же! Все не так! И нечего моим друзьям с жалостью смотреть! Нам и не снился такой уют! Уют жилья, уют тихого говора, ласки неторопливых движений, мягкого течения времени, нежных изломов дня, таяние зимних вечеров... И красный бархат кресел – не более, чем продолжение, атрибут, хотя, может, и вершина этих вечеров, главный смысл. Я старалась угадать, так ли это. Я искоса, через весь зал вглядывалась в их лица, даже переставала слышать музыку.

Беленькая, востроносая Ольга Васильевна, подавшаяся вперед... сощуренные глаза сравнивают, сопоставляют с чем-то давним... Ну и как же? В чью пользу выбор? Ах, да все хорошо! И то было хорошо, и это прекрасно – сияет Наталья Андреевна, маленькая, кругленькая, очень хорошенькая, без единой морщинки! с густой льняной сединой, кокетливо уложенной и подколотой волнами – от пробора... и еще, в пучок... и кофточка сидит ладненько, так все славно! Иногда, не отрывая взгляда от дирижера, оборачиваются друг к другу, как-то так, чуть заметно, едва заметные знаки, которые они улавливают то ли щекотой, то ли виском, то ли... Я всматриваюсь и вижу, что Варвара Николаевна шевельнулась в каком-то намеке, – и Вера Вячеславна сразу поняла ее, хотя так и не подняла свои тонкие птичьи веки. Неужели окружающие думают, что она дремлет?! Нет, конечно! И какая мне разница, что они думают, окружающие? Зачем я суечусь, зачем унижаюсь объяснениями? Не надо! И все-таки я говорю: “Вот эта, востроносенькая, та, что сидит с краю, приходится тетушкой Святославу Рихтеру”. – “Да? – отвечают мне. – А сама она кто?” Она? И тут я понимаю, что не знаю ничего об Ольге Васильевне. А о Вере Вячеславне? Что я знаю о ней? Я напрягаюсь, но из обрывков старых разговоров, случайно зацепленных в детстве, ничего не могу сложить. Все больше о Кирилле говорилось, о том, как он надрывается, работая в двух местах, потому что Джемме все мало, свою зарплату она даже не вносит в дом, это ей “на булавки”. “На булавки”, “на булавки” – повторяю я, и от каждого слова веет на меня истертым старинным шелком. Чужие, нынешние слова. Сейчас так не говорят, говорят по-другому, на другом языке.

Вера Вячеславна владеет им. Ведь ходит же она в магазины, к врачу, судилась даже... При этой мысли я содрогаюсь так же, как в детстве, когда Вера Вячеславна делилась с мамой своими мытарствами. “Нет, но Вы представляете, голубчик, как обидно! Да если бы она сразу явилась, как только Ортоболевские выехали! Ведь я же сама пошла в жилкоп и сдала лишнюю площадь! Зачем мне такие хоромы? Но комната... Столько мучиться, столько лет скитаться по людям, получить, наконец, свой угол, – и как снег на голову! – Настя! Конечно, она тоже человек! ей тоже нужно где-то жить, я ей сочувствую, но где же она была

раньше?! До того, как квартиру заселили!“ И мама горячилась: “Надо представить свидетелей, пусть люди скажут, как все было, что она уже несколько лет не жила у Ортоболовских! Мало ли что?! А если бы у них было десять домработниц? Что значит: ее вселяют в вашу комнату?! С таким же успехом ее можно поселить к кому угодно из новых жильцов!“ – “Ну что Вы, голубчик! – пугалась Вера Вячеславна. – Как можно! Какое отношение к ним имеет Настя! Ведь это совершенно чужие люди! И потом – у них семьи, а я все-таки одна“. – “Так что же, если одна! – кипятилась мама. – Как это так! Мало того, что человек по своей доброй воле сдал жилплощадь...“ – “Меня бы все равно уплотнили, деточка! Даже Дмитрия Александровича как-то вызывали, хоть он и профессор, и у него большие заслуги... Они, знаете ли, сами тяготились этой квартирой. Просто соседей не хотели пускать в дом, а то бы, право... В Москве они выбрали квартиру наполовину меньше, и довольны. Ведь это все убирать надо, а они после Насти не решались брать постоянного человека. Они так с ней намучились! Просто рады были, когда она ушла: они уже отказать ей хотели, такая, право, тяжелая!“ – “Ну вот! Почему же вы должны ее терпеть, раз она такая тяжелая?!“ – “В том-то и дело, что тяжелая! – с непонятной надеждой воодушевлялась Вера Вячеславна. – Вздорная, обидчивая...“

Я представляла себе Настю угрюмой, лохматой дворничихой. В клеенчатом фартуке, с грязным ведром и метлой, уверенно раздвинув ноги, Настя стояла на пороге тонущей в полумраке комнаты и с угрюмым рвением водила глазами по огаркам свечей, по цветам, увядшим в прошлом веке. Стеганные валенки оставляли мокрые следы на паркете...

Я никогда не видела ее, но постоянно чувствовала ее присутствие – позднее, когда перегородка отсекала две крылатые головы по углам потолка, и ангелы, летающие веночком вокруг крючка, оказались над пианино и истошно уперлись голыми пяточками в картонную стену, уперлись – пусть уж не над столом, пусть уж мерзнуть в стороне от абажура! – только бы не в темный тамбур, где горит голая лампа, где лежит Настин половик и высится ее накрытый клеенкой ящик!.. Пусть уж, пусть уж! Оранжевые тайные блики доставали их, круглили лобики и гипсовые попки, разбирали перышки в забеленных крыльях, и ангелы согрелись, раскручивались над моей головой... широким хороводом... под “Часы“ Шостаковича, под песенку Чайковского... “Когда-а-же-ро-о-зы-рас-цвел-ии... Де-тей-ев-рей-ских он-соз-вал... О-о-ни-сор-ва-а-ли-по-цвет-ку...“ И я с облегчением вслушивалась в звучание песни и снова убеждалась, что обиды в ней нет, нет злости на “детей еврейских“, пусть себе кружатся над старым “Беккером“... жаль только, что роз у них больше нет... завяли... давным-давно и едва слышно звенят засохшими лепестками на комодке, на этажерке, на пианино, но у vzdорной Насти нет силы над ними, так и стоит за своей дверью, окочевная от злости, с метлой своей и с ведром, а здесь даже еще лучше стало, честное слово, еще лучше – гуще и теснее, только вот за ширму не заглянуть... жалко... а то... вдруг и он больше не сердится на меня, темный на золоте бог Веры Вячеславны? ведь за что? за что?

* * *

Как еще можно передать пустоту, пустоту бесконечного пространства? Никак. Только золотом. Ровный золотой фон дает необыкновенный эффект, необыкновенной силы ощущение. Чем я могла бы сымитировать это? Разумеется, нечем. Разве что бронзовой бумагой... И не так уж это смешно... довольно занятно может получиться и очень декоративно. Силуэт на бронзовой бумаге... А что? Тоже провал, пустота, хотя, разумеется, не такая. Что ж...

Это отличная икона московской школы. Не позднее семнадцатого века. Шестнадцатый... Пожалуй. Да и вторая не хуже. И там еще что-то в углу. За лампадкой... раньше не было... Интересно бы взглянуть без оклада.

Вот как я во всем разбираюсь! Так я думала... Мне исполнилось двадцать пять. Я окончила институт и вернулась домой. А сестренка моя поступила в консерваторию и приехала на каникулы. И мы пришли к Вере Вячеславне. И пьем чай. Вошли с яркого солнечного света в вечный вечер ее комнаты... под цветастый абажур – попросту платочек, накинутый поверх каркаса, с углами, свисающими почти до стола. Сидим, впятером, в желтом шатре света... А Вера Вячеславна – на грани... мечется между нами и невероятно неподходящей ко всему здесь девушкой. Девушка забежала на минуту и, должно быть, давно здесь не была. Тем не менее она не смущается, очень свободно поворачивается в хрупких дебрях комнаты, невозможно громко говорит. Я вглядываюсь в ее лицо: не скрывается ли за этой пластмассовой обыкновенностью одна из тех девочек, с которыми мы встречались на "концертах" у Веры Вячеславны? Не она ли пять раз подряд сбивалась, начиная "Коровушку"? Ах, да не может быть! Хотя что-то, хоть какая-нибудь черточка здешнего старообразия должна была отложиться на ней. Или хоть сейчас отразится? Нет! Она страшно похожа на мои георгины, такие неуклюжие, громоздкие для этой комнаты, яркие и пустые... Других цветов на рынке не оказалось, и я все-таки купила их... Они были даже очень красивы... пока не оказались здесь. Ими восхитились, но без душевной радости. Только Зоя (точно! ее звали Зоя) ничего несуразного в них не заметила, наоборот, восторженно расшумелась и стала искать, куда их поставить, и чуть было не сняла с пианино высокую вазу с пыльными останками роз, но тут Вера Вячеславна вступилась за свои розы с таким решительным испугом – нет-нет, детка! это нельзя трогать! – что сразу стало ясно: это были какие-то особые розы, особое воспоминание, и я почти уже угадала это воспоминание... но... Зоя мне мешала. Еще больше, чем наши георгины. Ольга Васильевна их все же пристроила в каком-то кофейнике, и они торчали в три стороны, мучительно неустойчиво... Хотелось, чтобы они поскорее завяли и исчезли... Бедные георгины! Они были прекрасны... И Зоя... Просто она была... тем, чем по сути своей были и мы... тем и раздражала. Что с того, что я надела кремовую блузку с бархатным бантиком, сестренка подвила и распустила длинные волосы...

Мы не были – мы старались, и я со стыдом прислушивалась к изменившемуся звуку наших голосов, к необычным сочетаниям слов... Реверансы, реверансы... Зоя обходилась без реверансов. Не потому ли, что была действительно своя? С ней меньше церемонились, с ней им было проще, чем с нами. Я вдруг подумала, что и они ведут себя при нас как-то по-особому, знают, чего мы ждем от них, вот и... А Зоя – будни, Зоя – жизнь, продолжающаяся со своими проблемами... Нет! И все-таки она не нравится им! Все равно им: есть она или ушла, им просто хочется поподробнее узнать об этой Евгении Ильиничне. Кто же такая была Евгения Ильинична? Та? строгая? с жесткими черными волосинами по углам рта? Или та, что повязывала шарфик вокруг головы? Или... Но которая бы ни была – как могла получиться от нее такая внучка?! В такой блузке! в такой юбке! с такой прической! с таким голосом! "Ужас! Ужас! Просто трудно рассказать, как мы с нею мучаемся", – встряхивает головкой Зоя. Вера Вячеславна слушает ее стоя, очень сосредоточенно, но будто не Зоины слова, а что-то там за ними, более важное. И Ольга Васильевна опустила глаза на скатерть, катает крошку... нет-нет! – это не недоверие, наоборот, напряженное любопытство к новому. Но что же нового в Зоиных словах? Глубокая старуха выжила из ума. Склероз. Или они примеривают к себе эту беду? Господи, упаси! Что же тогда будет с ними? Ведь у них никого нет! Никого такого, кто мог бы возиться с ними, ухаживать, пусть даже раздражаясь, пусть даже заводя глаза, как Зоя... "Нет.

Она рассуждает вполне разумно, как будто все понимает, но... Мы уже и спорить с ней перестали, все равно бесполезно... И память! Нет, вы себе не представляете! Она все время сообщает какие-то новости! Ну как учебник. Про войну. Какие-то сводки рассказывает, про немцев, про сербов... Вчера, – оживает Зоя, – папа к ней заходит, а она ему: "Ты читал "Утро России"? Ну что скажешь?! Как тебе речь Родзянко?" И как пошла, как пошла... Наизусть, как стихотворение! Папа говорит, интересно было бы найти этот номер и проверить, если бы только знать число. Я пошла нарочно и спрашиваю: "Бабушка! А какое сегодня число?" Она отвечает: "Восемнадцатое". Я говорю: "А год какой? месяц?" Она на меня вот такие глаза: "Что это вы все? С ума посходили?"

По Зоиной гримаске я догадываюсь: точно, речь идет именно о той темно-глазой строгой старухе. И в интонации угадывается оттенок, особый рокот низкого голоса Евгении Ильиничны. Все становится на место. И я теперь прекрасно представляю себе ее грозное удивление, ее гнев на детей, закативших колокольчик, и на горничную, которая никак не является на зов, видно, оглохла, раз не слышит ее через какие-нибудь полвека!

– Ужасно! – вздыхает Вера Вячеславна (впрочем, нет в ее голосе паники). – Я всегда удивляюсь людям: по праздникам открытки приходят: "Желаем долгих лет жизни"... Да кто же человеку в таком возрасте долгих лет желает?!

Она всплескивает руками, и я захлебываюсь от нежности: в скором взмахе руки, длинной и угловатой, такая неожиданная девичья горячность... (Да, кажется, тогда, именно тогда я угадала ее, вернее, начала угадывать... Или просто повзрослела и увидела то, что всегда было видно. Только не мне.)

– Но чего же желать? – чуть краснея, спрашивает моя сестренка.

– Чего? Ну-у, не знаю, – отвечает Вера Вячеславна, и что-то озорное вспыхивает, да так и остается на ее лице... Какая-то смешная и остроумная фраза, которой она все же не дает сорваться с губ. Что же? Может... Ну да ладно. Досадно, что не сказала. Пожалела Ольгу Васильевну? Да ведь Ольге Васильевне все равно. У нее своя мысль. Она катает крошку по скатерти, три тонкие морщинки на лбу выгнулись вопросительно над поднявшейся бровью. Как три тайных вопроса: так ли уж страшно то, что произошло с Евгенией Ильиничной? не удача ли это? не достойна ли она зависти?..

– Как она когда-то танцевала! – невпопад вздыхает Екатерина Николаевна, и черно-фиолетовый бархат, тяжело полыхнув, проносится – и ничего не задевает в хрупкой сумеречной тесноте комнаты...

– Вот-вот! – подхватывает Зоя, – это – ее хлебом не корми, дай рассказать, как она с наследником танцевала. "Какая на нем была гусарская курточка... душка! такой душка! стеснялся... А Мария Федоровна какая была душка!" Представляете?

Они кивают и делают неопределенные движения губами, каждая о своем...

– Но как же вы все-таки с ней общаетесь? Как она с детьми?

– Да никак, – Зоя снова оживает: вспомнила смешное. – Томочка к ней вчера подходит, а она спрашивает: "Девочка, ты чья? Верно, кухаркина?" А Томка ей говорит: "Нет. Я ваша правнучка, Тома". А она – даже рассердилась. "У нас, – говорит, – в роду таких простых лиц не было. И имен таких не давали". А мне говорит: "Это, видно, девочка новой кухарки. Очень хорошенькая, правда? Но простоватая". Представляете? "В нашем роду...!"

По выражению Зоино лица становится ясно, что Томочка – девочка замечательно красивая, и Зоя гордится ею. Но еще понятнее мне удивление Евгении Ильиничны, спящей красавицы, очнувшейся через полсотни лет и обнурившей на вершине суровой мощной кроны своего родового дерева – гладко обструганную тросточку... Бедная Евгения Ильинична! А может, я ошибаюсь? Может, Евгения Ильинична – та, которая носила камю, у которой волосы

вились? Маленькая такая... А может... играла все-таки Зоя "Коровушку"? Вот ведь и прощается она с нами, как со знакомыми...

– До свидания!

– До свидания!

– Очень приятно было познакомиться.

Вера Вячеславна оборачивается на нас от дверей:

– Это, Зоинька, мои две ученицы. Одна – пианистка, в консерватории учится, а вторая – художница. Сестрички.

Зоя заинтересована, делает даже движение задержаться, но все-таки уходит, ко всеобщему облегчению. Почему же облегчение? Ведь с Зоей они говорили так легко, с такой непривычной для нас простотой, и так все было деловито, так совпадало во времени!.. А как только она вышла, все будто приготовились к чему-то, и лица обмякли, постарели, стали наивнее... Может, это в самом деле игра? неосознанная игра с нами? ради нас? Да нет же! Они просто заняты сейчас только нами, они рады нам, и коричневый полумрак так тепло сгустился вокруг... Зоя была как свет, как свежий воздух... А мы? "Две сестрички! Две сестрички..." И в их ласкающих взглядах снова какое-то воспоминание, сравнение... с чем?

– Ах, какая жалость, что Наташеньки нет! Натальи Андреевны. Она к родственнице уехала в Ленинград, помочь, та очень старенькая, при смерти. Ты пожди немного, голубчик, сейчас Лидия Михайловна придет – и начнем.

– Лидия Михайловна?

– Ну да. Да ты ведь ничего не знаешь, голубчик! У Лидии Михайловны брат умер, и она сменяла свою квартирку на комнату в нашей. Ей легче с нами, сама понимаешь. Мы хоть и слабенькие стали, но все вместе справляемся.

– Нет! Это замечательная была идея – всем сменяться сюда!

Они моргают несколько рассеянно, соображают... Идеи никакой не было: просто Оленька, Ольга Васильевна, получила комнату, но Настя, из чистого упрямства! отказалась. Только чтобы не сделать, как ее просят! Ведь комната Ольги Васильевны в три раза больше! светлая! и с кладовочкой. А Смирновы (тут две пожилые женщины жили, Смирновы) сразу ухватились. Там ведь еще балкон. Они комнату разделили, им очень удобно. Здесь нельзя было: здесь только одно окно, а комната тоже хорошая, гораздо лучше Настинной. У Насти комната узкая и длинная, но нам безразлично было. Мы все равно все здесь находились.

– Она даже участковому писала, что мы здесь проживаем без прописки! – подключается с порога Лидия Михайловна и улыбается нам со всем своим близоруким радушием. Я сомневаюсь в том, что она нас узнала, ну да какая разница...

– Это такой странный человек! – не может уgomониться Лидия Михайловна.

– Все во вред себе делает! Ну с Оленькой, ну с Наташенькой меняться не хотела. Но со мной – подумайте! – на отдельную квартиру! Туда пошла семья из трех человек, и они так благодарили, целовали меня!

– Теперь и у вас почти что отдельная квартира, – восхитилась моя сестренка.

– Из старых жильцов только Настя осталась?

– Нет, детка, еще Клавдия Викторовна. Но она прекрасная женщина, большой наш друг.

– Надо ее позвать, – торопливо поднимается Ольга Васильевна.

Ольга Васильевна совсем согнулась, но все еще шустрая, быстрая в движениях.

– Так что же, концерт сейчас будет? – Лидия Михайловна глубоко усаживается в старинном резном кресле. Сияя от удовольствия, слушает, как сестренка пробует инструмент. Звук у "Беккера" стал капризный... звенит... "фа" западает в первой октаве... по резной лилии в стиле модерн пробирается коричневый

прусак. Сердце у меня сжимается от беспокойства и тоски, он ползет будто по моим нервам... вверх, к крышке, ловко передергивается через угол и исчезает за изящной старинной рамочкой...

– Вера Вячеславна, это Ваша мать?

– Это? Нет, голубчик.

– Мне показалось, что они на Вас похожи.

– Нет, детка. Это Ортоболовская, Софья Дмитриевна, с сыном.

– Тот самый?

– Да, детка...

Вера Вячеславна собралась было что-то рассказать, но вдруг напрягается, губы становятся короткими и морщинистыми, встревоженные глаза упираются в стену, из-за которой слышны нестройные голоса. Чьи? Она хочет встать, но Ольга Васильевна является из коридора с какой-то баночкой и делает легкий успокаивающий знак лицом, приподнятой рукой.

– Все в порядке.

– Мы боимся лишний раз выйти на кухню, – поворачивается ко мне Лидия Михайловна. – У меня, знаете ли... врачи говорят: насморк, хронический насморк, но это, конечно, мозги вытекают от старости. Я же чувствую: память день ото дня все хуже. Я непрерывно стираю носовые платки и сушу их прямо в комнате на веревке. Хожу и лбом задеваю! Хотя кухня у нас громадная. Но никогда не знаешь, к чему она придерется в следующий раз. Жизни от нее нет! Ну хватит о Насте, бог с ней. Будем концерт слушать.

Я завидовала. Мне страшно хотелось стать рядом с сестрой и запеть. Но к сонате Брамса слов не подберешь, да и голос я сорвала давным-давно, в пионерском лагере... И я ревниво прислушивалась к тому, как сестренка своим романтическим напором перекрывает фальшь ненастроенного инструмента и собственные помарки... Прусак по вазе вскарабкался на засохшие цветы и стал невидимым, а потом вдруг снова объявился – на стене – и пополз среди портретов... мимо суровых мужчин, непроницаемо гордых женщин с тончайшими талиями и вывихнутой вперед грудью, мимо священника в белой ризе со строгой рукой, приложенной к кресту... мимо... Ах, вот и она! та девушка, что глядела добрее остальных... то-то она все казалась мне знакомой! Еще бы! девушка в саду... Серова... "Девушка в саду", красиво напечатанная фотография из старого журнала... А впрочем... почему бы и нет? действительно! ведь с этой девушкой они вполне могли быть знакомы! Скорей всего так оно и есть! иначе не отвели бы ей такое место. Может, и дерево это им знакомо, и лавка... на дачу ездили, к ней на дачу... Она была старше, дружили между собой родители... а Верочка скучала, наблюдала за ней издали, за ее приятелями, за их разговорами, играми... Может, и Серов бывал здесь среди гостей. Отчего бы и нет? Отчего бы не столкнуться где-нибудь с Серовым девочке, отец которой пел с Шаляпиным в одной труппе? Ах! Почему же Серов не написал Верочку?! Какой это был бы портрет! Кажется, так и возникла первая мысль о портрете. Но в тот раз я отвлеклась: грянуло роскошно пианино с последним жаром расстроенной бесшабашности, с фарфоровым звоном и медным дребезгом – ВСЕ!!!

Сестренка сбросила руки и быстро прокрутилась на вертящемся стульчике лицом к нам: за одобрением, за снисхождением к небрежности, лукаво сморщенная мордашка... До чего же у меня красивая сестра! Коричневые волосы до локтей, длинные тонкие руки – одна через другую, длинные – одна через другую – ноги... Видно ли? понятно ли им это изящество? Наверное, нет. Наверное, они видят только лицо, только громадные глаза с поволокой, с голубыми чистыми белками. "Рафаэль!" – "Да! Только у Рафаэля можно встретить подобную красоту!" Я жду, когда они это скажут, но они не говорят, они и Рафаэля не видят, а видят маленькую девочку, с локонами, толстушку, у которой ножки не сходятся, торчат

враслопырку, и часто моргают круглые любопытные глаза. Подумать только! Такая крошка – и так хорошо играет Брамса! труднейшую, труднейшую сонату! Они поводят плечами, головами качают, ждут, что скажет Верочка. И Верочка говорит: "Я так не играла. Не помню, кто это сказал: "Победителю-ученику – от побежденного учителя..."

– Ну что Вы, Вера Вячеславна!

Разумеется, она преувеличивает. Сестренка играет хорошо, но неужели студентка Петербургской консерватории, Верочка, которой присудили золотую брошь – первый приз на конкурсе, пусть небольшом, пусть женском, все-таки...

Все-таки это зависть. Досада. На них – за то, что совсем забыли о моем присутствии, на себя – за то, что бросила музыку, и вот теперь...

– Как жалко, что ты, детка, бросила музыку! – неожиданно откликается на мою мысль Вера Вячеславна. – Ты, конечно, умница, художница настоящая... Но все равно жаль... У тебя прекрасные способности были. Просто до сих пор не понимаю, почему так вышло.

– Я боялась нот, Вера Вячеславна.

– То есть как – боялась? – недоуменно улыбается она.

– Очень просто. Я в них совершенно ничего не понимала. Я могла играть, только если знала вещь, на слух.

– А вообще-то, представь себе, я сталкивалась с этим. К нам однажды дальняя родственница приехала, молоденькая девушка. Приехала поступать в консерваторию. Моя гувернантка предложила нам сыграть в четыре руки. Так вот она – совершенно не могла играть с листа! нервничала, ногти грызла... А потом, вечером, она сыграла свою программу (Вера Вячеславна снова удивляется) – и знаете – очень неплохо, просто талантливо! Она, правда, не поступила. Но не потому, что плохо сдавала. Мы так полагали, детка, что это из-за брата. У нее брат находился в ссылке. Тогда, знаешь, вся молодежь занималась политикой... Она потом замуж вышла вскоре. Дети... Время такое... Совсем оставила музыку...

– Вот это уж действительно жалко. Мне кажется, самое трудное – пройти начало. Если бы я одолела азы...

– Ты бы прекрасно играла! Ну да ничего! Ты у нас и так умница. Я всем рассказываю о вас: две сестрички! Две сестрички...

* * *

Не в тот ли день было так: я вышла на улицу и остановилась, оторопела от нагрянувшего света. Оказалось, что еще день, что еще совсем рано. И можно даже подумать, куда податься дальше. Кажется, в тот день мы и столкнулись с Глебом возле входа в дом, и я сразу подумала, что он их должен знать. Но только через несколько лет я впервые заговорила о них с Глебом. После смерти Наташеньки, Натальи Андреевны... Я стала бояться им звонить: вдруг снимут трубку и скажут... Тогда-то я и вспомнила о Глебе. Я поднялась к нему в мастерскую и спросила, не знаком ли он со старушками, с теми, что живут в его доме на первом этаже. И он ответил: "Это мои лучшие друзья".

"Глеб? Ты работаешь вместе с Глебом? Это наш большой друг, он, можно сказать, вырос у нас. (Большой – но не лучший, – с удовольствием отметила я про себя). Говорят, он очень талантливый художник. Ты знаешь, – тихо рассмеялась Вера Вячеславна, – он очень любит старинные вещи, это у него прямо страсть!"

Так вот куда исчезли резные кресла Веры Вячеславны! А я-то надеялась как-то так навести разговор, чтобы Вера Вячеславна продала их мне. Не знаю, зачем они были мне так нужны. Громоздкие кресла, мне даже некуда было бы их

поставить. Они и у Веры Вячеславны казались лишними. Появились вдруг, и в комнате из-за них прохода не стало. Так и не прижились. Должно быть, Вера Вячеславна еще и благодарна была Глебу за то, что он их забрал, выручил, ну просто спаситель!

– Кто же сейчас не любит старинных вещей? – ”отомстила“ я Глебу. Мне стало казаться, что в комнате еще чего-то не хватает. Многого...

– Нет, детка, не скажи! Вот у нас приятельница умерла. Ее вещи просто невозможно было пристроить: комиссионный не принимает... раньше старьевщики ходили... у нас прямо проблема была. А главное, понимаешь: остался портрет ее отца. Это, детка, очень интересная судьба. Ее отец погиб, когда ей было пять лет, но она его всю жизнь боготворила. Он в Болгарии погиб, на Шипке. Мать осталась с девочкой, без средств, так и не вышла замуж. Она его очень любила. И вот в девочке тоже воспитала прямо поклонение. Они, конечно, пенсию получали, им помогали. Дарья Константиновна училась в Смольном, и ее там оставили работать сразу после окончания, хотя и не положено было. Она мечтала там остаться, и для нее сделали исключение. Так о чем я? Ах да! Так вот, детка, на свое первое жалованье она заказала портрет отца и к нему – раму из красного дерева. Очень красивый портрет, большой, около метра. Посуди сама: куда я могла его повесить? – Вера Вячеславна оправдывается передо мной. Или перед Дарьей Константиновной? – Красивый портрет. И рама очень красивая, говорят – дорогая. Но все-таки... это ведь не такой уж близкий человек. Он вот тут стоял, прямо на полу, и у меня все время были угрызения совести. Понимаешь? – у нее напряженно морщится лоб. Она боится, что я осуждаю ее.

– Да в чем же вы виноваты?! Это просто даже тяжело, когда такой большой портрет постоянно перед глазами. Да и зачем снимать портреты родных для того, чтобы повесить портрет чужого, незнакомого человека?

– Вот именно! вот именно, детка! Если бы комната была побольше! А так – я прямо не знала, что и делать. Представляешь: ко мне привели одного молодого человека, который собирает портреты военных разных полков. У них, детка, форма отличается. Чего только люди не собирают! Он так нас благодарил! У него громадная коллекция, а именно такого не было. Это, говорит, будет у меня самый ценный экспонат. Он хотел нам раму вернуть, но мы отказались: нельзя же, в самом деле! Да, жаль, что он собирает только фо-тографии военных, – улыбается Вера Вячеславна. – Я велела Кириллу после нас все бумаги сжечь. Так бывает неприятно, когда видишь на мусорнике старые фотографии...

– Почему это – на мусорнике?!

– Да кому же они нужны будут, детка?

– Да хоть бы мне!

– Правда?

Вера Вячеславна не хочет ловить меня на слове, что-то прикидывает.

– Может, они в самом деле будут тебе полезны? Ведь ты художник... Да, действительно... Кажется, напрасно я с портретом поспешила. Жаль, что ты его не видела: очень хорошее лицо! Впрочем, тут есть! – она листает альбом, ищет, – вот они, видишь? все втроем. Сфотографировались перед его отъездом в Болгарию... Это Дашенька, совсем крошка! – горячо умиляется Вера Вячеславна, перелистывает страницу. – Это муж Анечки. А это – узнаешь?

Узнаю. Это я. С книжкой на коленях и послушно заведенными к потолку глазами. Рядом приклеена фотография моего малыша. И тут же – Рыжик. Рыжик в ванночке. Рыжик в шубке... И между листами – фотографии Джеммы, те, что висели когда-то на стене... сваленные кое-как, с загнутыми углами.

Джемма... и снова Джемма. Вере Вячеславне интересно: что же это привлекло мое внимание? Ах Джемма...

– Такая она оказалась непутевая. Ребенком совершенно не занимается! Кирилл ему и за мать, и за отца. Мальчику скоро пять лет, а она все еще о родах говорит, все еще ужасается.

– Но это, знаете, в самом деле не шутки, – вступаюсь я за Джемму. – Я моложе ее – и то...

– Ты – совсем другое дело, детка, у тебя таз узкий, и вообще ты всегда была слабенькая...

Она говорит со знанием дела и без излишнего интереса, обычного для старых дев. У нее все было: рожала Аннушка, Варенька рожала... И разве же он ей не родной – Аннушкин сын? Но вот вмешиваться во что бы то ни было она не имеет права. Была бы жива Аннушка – она запретила бы Кириллу надирать здоровье на двух службах. Преподаватель консерватории! должен унижаться на фабрике роялей ради лишних нарядов...

– Что же в этой работе такого унижительного, Вера Вячеславна?

– Да то, детка, что рояли-то все негодные! Он должен опробовать каждый инструмент и дать свое заключение. А мог бы и не пробовать даже! Все равно его вынуждают давать заключение положительное.

Мне нравилось, что во всей этой истории она осуждала только Джемму. Не возмущалась "нынешними порядками", не ссылалась на благополучное прошлое фирмы. Не из осторожности – из деликатного нежелания оскорбить меня: ведь это мое время, моего времени порядки. Не было ни язвительности, ни снисхождения. Понимание времени. Может, несколько отстраненное. Понимание, которое всегда удивляло меня. Она, например, рассказала о том, что племянница ее вышла замуж за художника. Племянница эта – действительно племянница, дочь двоюродного брата, женщина уже немолодая, так что брак можно было бы считать большим успехом. Человек он очень приятный. Но – неудачник. Все у него что-то не получается. Куда ни подаст – не принимают. Ничего не может продать. Попросту живет на иждивении у жены. "Я тоже неудачник, Вера Вячеславна". – "Что ты, детка, – ласково всполошилась она. – Какой же ты неудачник? Ты ведь сама ни к чему такому не стремишься! Он добивается, добивается славы – а ты и не подаешь свои вещи никуда. Ты же для себя все делаешь – так какой же ты неудачник? Глеб говорит, что у тебя получилась очень хорошая картина".

Картина тогда уже была почти дописана, и Вера Вячеславна очень жалела, что не может увидеть ее.

– Картина изумительная! – когда речь идет обо мне, моя сестренка теряет чувство меры. – Это ее лучшая картина! Она могла бы висеть в любом музее!

– Правда? – откровенно радуется Вера Вячеславна. – И похоже?

– Да, очень! К нам люди приходят, которые знакомы с вами – все в восторге!

– Слышишь, Оленька? – обращается Вера Вячеславна к входящей Ольге Васильевне. – "Моя" картина уже дописана, и все говорят, что очень похоже.

Ольга Васильевна улыбается, накрывает к чаю, чашечки опасно позванивают на блюдцах. По тому, как они встретились глазами, я вдруг угадываю, что они много говорили об этой картине и даже придают ей какое-то особое значение. Не слишком ли высокое? Не ищут ли они в этой картине, которую не видели и, наверное, не увидят, а только представляют с чужих слов, – не ищут ли они в этой картине некое справедливое завершение, возвращение права на продленную искусством жизнь? Такое вот странное исправление того, что было нелепо и случайно испорчено в самом начале... Разбитая жизнь, неудавшаяся судьба... Почему Верочка, дочь певца, Верочка, получившая золотую брошь на конкурсе в Петербургской консерватории, умная, образо-

ванная, интеллигентная девушка – почему она всю жизнь проходила из квартиры в квартиру в уродливой шубке, с черной сумкой, свисающей до земли? Как она оказалась в чужом городе? Почему бездомная?

Я уже знала, что и моя судьба – неудавшаяся судьба. Я уже знала, что слепну и что это неизлечимо. Я уже писала свою первую повесть о неудавшейся судьбе. Но Верочка была выше своей судьбы: она не считала свою жизнь несчастливой, она никогда не жаловалась, ни в чем не обвиняла ни людей, ни обстоятельства, я ни разу не видела, чтобы воспоминание вызвало в глазах ее печальный разбитый блеск. Она принимала свою жизнь спокойно и достойно, так же, как свою некрасивость, и так же, как некрасивость ее обернулась в старости самой глубокой красотой – жизнь ее обрела редкий сосредоточенный покой, и в этот покой, в эту старость одна за другой вернулись подруги ее детства, вернулось нежное благородство привязанностей, любви без требовательности, без назойливости. Она сумела остаться равной и желанной и для тех, с которыми начинала, и для тех, кто достиг высокого положения, славы, суеты.

Я рассматривала фотографии. Среди них не оказалось ни одной, где Вера Вячеславна была бы моложе пятидесяти лет. А ведь где-то лежали! лежали же они, обреченные на уничтожение: Верочка – младенец, в белом оборчатом платице, похожая на мальчика; Верочка – глядящая исподлобья девочка с косичками, рядом с матерью и сестренкой; Верочка – суровая порывистая гимназистка с впалыми щеками; Верочка в мешковатом платье тридцатых годов, с не по контуру подкрашенными губами – бантиком, наведенным поверх длинного силуэта чайки... Нет, уж лучше мне не видеть этот снимок, не она это, совсем не она. Кто-то уговорил сходить к фотографу... все ходили... вот и Верочка... А то бы и мысль такая не появилась. Она и позднее никогда не ходила фотографироваться. Все снимки были случайные, любительские, сделанные где-нибудь в гостях. Вера Вячеславна с Анной Леонидовной – голова к голове. Вера Вячеславна с Любовью Даниловной. А вот и Ортоболевская. Совсем не такая, как на официальных портретах, домашняя, в вязаной кофте, ласково оплывшая боком на диване. Она кажется гораздо старше Веры Вячеславны. Подтянутая, в строгой нарядной блузке. Вера Вячеславна стара. Согнута, морщиниста и старообразна. Но почему-то именно старообразность как-то неожиданно ее молодит. Все те, с кем она фотографировалась, выглядят намного обыкновеннее: слишком плотно отложились на них современность.

– Насколько вы моложе Софьи Дмитриевны?

– Что ты, голубчик! Она моложе! У нее просто жизнь так тяжело сложилась... Муж погиб в сорок пятом году, в апреле. Он был кадровый военный, прошел две войны – и вот... У нее нервный срыв произошел, она больше не играла на сцене, стала преподавать. Она была прекрасной пианисткой, детка! А еще она до войны похоронила мальчика, ты ведь знаешь...

– Да-да! – тороплюсь я. Я боюсь, что она снова расскажет историю о мальчике Софьи Дмитриевны.

* * *

Были две такие истории... Две истории, поразившие мое детство непостоянным чувством сострадания. Не знаю, сколько раз я слышала их. Каждый раз, когда речь заходила о скарлатине или вообще о заразных детских болезнях? Я хотела их забыть, но постоянно помнила, а вернее, переживала, видела, участвовала, слышала запах лекарств и запах одеяла, в котором мальчика вынесли на улицу, и вдыхала морозный шершавый воздух, и небо видела над собой – голубое... "Такой был мальчик! Такое милое дитя!" Я чувствовала, как брыкается, бьется по корявому булыжнику машина "скорой помощи"... И мальчик

– как я его понимала! – говорит склонившейся над ним матери: “Вот видишь, ничего страшного... А ты так боялась скарлатины!” И в ту же ночь – умер...

Вторая история была о девочке, которая стояла в коридоре... Кто же это был? Наташенька? Наталья Андреевна? Это она вечно повторяла, что не отличается никакими талантами. Да нет, Наталья Андреевна хорошенькая была, даже очень хорошенькая! Кто же тогда? Ольга Васильевна?! Так это Ольга Васильевна стояла в темном коридоре... маленькая, длинноносенькая, с острым затылком и свалывшимися в болезни косичками... Ночью... никак не могла заснуть и с отвращением чувствовала, что выздоравливает! И робко убеждала себя, что ни в чем не виновата, что это соседская Катя заразила их обеих... Но Катя умерла. А сегодня утром умерла Женечка... Женечка. Сестричка! Красавица! умница! певунья Женечка!! У Оленьки нет больше слез... Она не может больше оставаться одна – к маме, к маме сейчас же! Не утешить и не за утешением – прижаться, только прижаться... И она на исчезающих от слабости ногах идет по темному коридору, останавливается у дверей – и слышит исступленный, изодранный отчаяньем голос...

Все это мерещилось, только мерещилось мне. Вера Вячеславна рассказывала без подробностей. “Она подошла к дверям и услышала, как мать говорит подруге: “Лучше бы Оля! Лучше бы Оля умерла!”

Я ненавидела... иногда, когда этот кошмар слишком реально накатывал на меня, накатывал безысходно, и чужая длинная жизнь, до конца, непоправимо окрещенная прорвавшимся в горе словами, ложилась отзвуком, отсветом на жизнь мою... За что? Для чего? Неужели Вера Вячеславна не догадывалась, какой груз взваливает на меня?

Конечно же, нет. И умиленное выражение ее лица, несуразное выражение – оно-то и вызывало во мне такую злость! – не было случайным. Для нее все это звучало совсем по-другому. Для нее эта история прежде всего была прекрасна... Но такое я смогла понять и оценить только позднее. Понять и полюбить, как полюбила ее порывистую девичью повадку. Неужели же раньше не было этого быстрого взмаха, угловатого взлета руки, милой привычки горячо и внушительно выделять в предложении какое-нибудь неожиданное слово. “Мы в Петербурге тогда жили, детка!” Наверное, было, но сама я была ребенком. Я боялась смерти, я старалась не думать о ней. И ласковая обыденность их разговоров о смерти казалась мне фальшью. Ласковая обыденность, в которой позднее я черпала уверенность и покой. Мне нравилось слушать, как они говорят о покойной Наталье Андреевне. Без надрыва. Как о живой. Большой портрет Натальи Андреевны висел над кроватью Веры Вячеславны. Должно быть, сделал его тот самый племянник, который учился во ВГИКе, оператор. И сделал прекрасно: Наталья Андреевна смотрит прямо в объектив, открыто и простодушно, как смотрят в объектив дети, спокойно ожидающие птичку... Она присутствует. Она участвует в чаепитии, слушает музыку, интересуется новостями. Рада, что наварила столько варенья: до сих пор есть чем угощать. Не для нее ли подалеже отодвинута створка ширмы? Чтобы лучше видеть? Кому? Или чтобы свободнее было летать птичке... птичке...

* * *

Это было в Ленинграде. Вода в Канавке тяжело колыхалась, и точно так же тяжело и счастливо бился во мне созревший замысел. Я угадала Верочку. Я коснулась носком высокого ботинка обманчиво-мягкой корки первого льда, и лед хрустнул, скололись, стасовались прозрачные карты... Теперь следовало их собрать. Составить основу, на которую лягут все ее воспоминания, все

мельком оброненные замечания и фразы. Пойти к ней и расспросить, как это было, во всех подробностях.

Жизнь, прожитая жизнь... единственная, редкая, полная изумительных, ярких, как жемчужины, событий. И вот она случайно явилась, приоткрылась мне, как дверь в светлую комнату, где убирают елку. Как щель, через которую видна гостиная, и лампа над столом, и нарядные женщины с тончайшими талиями и вывихнутой вперед грудью, живые, движутся и смеются, и восторженно аплодируют отцу... И голос отца потрясает темноту за стеной, темноту, где спят – где должны бы спать! – дети. "Нас всегда укладывали в одно и то же время, даже если приходили гости. И тишину при этом не соблюдали, не ходили на цыпочках, говорили в полный голос, играли на рояле, отец пел, наш отец прекрасно пел!"

Странно, почему я тогда же не спросила, сколько их было, детей? Что за голос был у отца? тенор? Какие партии он пел? Где произошла эта смешная история с Шаляпиным? на гастролях в Англии? А где была в это время Верочка? Там же, в Лондоне, в гостинице? Или это отец, усталый и веселый, вернувшийся из долгой поездки, рассказывал чемодан с подарками и говорил, говорил... Ведь она, кажется, рассказывала, столько всего рассказывала! А я запомнила только отдельные слова, смешные случаи, бесполезные сейчас. Запомнилось, как королева Швеции отправилась на поклон к Елене Гнесиной и застряла в лифте...

Впрочем, и из этого может получиться прелестный эпизод, и ему найдется место. Бедная старушка... в чужой стране... висит, как птичка в клетке... сердечные капли, сопровождающие лица, заматавшаяся в бессильном беспокойстве Гнесина... Должно быть, она уже не могла ходить в то время. Обязательно надо узнать! И как это я сразу не расспросила Веру Вячеславну о Гнесиной? Ведь стоял передо мной сборник Гнесиной, а напечатанное на бумаге имя вызывало во мне трепет, и казалось невероятным чудом знать, что человек этот жив, что с ним можно даже говорить, и не кому-то, а вот ей, Вере Вячеславне, которая сидит в нашей комнате и дремлет, пока моя сестренка играет инвенцию Баха. Ах, это было почти так же ошеломляюще, как если бы она говорила с Бахом! Я холодела, когда она, что-то знакомое вдруг различив в задавленном шипении радио, быстро подносила к губам сухой длинный палец: "Тише, тише, детка! Включите, пожалуйста, громче, это Варенька говорит, Варенька... Варенькин голос..."

Варвара Леонидовна Гурская низким, увлеченным голосом рассказывала о невероятной музыкальности своего ученика, своего открытия, маленького Моцарта пятидесятых годов – Сережи Дорожкина. "Варенька..." И мир несказанно раздвигался, вскрывалось гулкое, таинственное пространство, желтая пустота, именуемая "эфир". Тихая улыбка появлялась на лице Веры Вячеславны, появлялась и не исчезала до конца урока. Вера Вячеславна застегивала коричневую пуговку под шеей, аккуратно завязывала длинные уши шапки, кивала, сгорбленная шла по улице, и что-то все теплилось на ее лице... Мне казалось, она бережет в себе Варенькин голос. А если она приходила на урок оживленная и в конце чуть торопилась, мы догадывались, что это Сережа Дорожкин приехал на гастроли, а с ним – Варвара Леонидовна.

Я бредила Сережей. Мальчик, терявший сознание от неблагозвучия автомобильного гудка, поразил мое воображение. О нем говорили все! В школе, в трамвае, в гостях. И так страшно, так изумительно было слушать эти разговоры и молчать, и быть единственной, кто знает, что он вот сейчас находится совсем близко, в хорошо знакомой мне комнате, и в теплом мраке ангелы раскручивают свой хоровод над ним, над старым "Беккером", и вся комната, тайная, отгороженная от суеты, как драгоценная шкатулка для этого хрупкого чуда, до

мелочей, до каждой трещинки на блюде... И я мысленно витала там, возле него, в белом платье, с распущенными волосами, отгораживала его осторожно своими ладонями от автомобильного гудка — и пела, пела что-то не своим — не здешним, не здешней силы и не здешнего звона голосом, голосом потрясенной души.

Год? Два года? Сколько это длилось, сколько лет я пела, сколько лет Сережа лежал в обмороке, и светился нежный его висок? Но Вере Вячеславне я не задала ни одного вопроса. И позднее никогда не поинтересовалась, что стало с ним, куда он канул. Но когда я попыталась осмыслить все это, я засомневалась. Я вдруг подумала: неужели Гурская со своим знаменитым учеником — с мальчиком! — останавливалась в тесной комнате коммунальной квартиры, спала на старом диванчике?

Я считала дни, оставшиеся до отъезда домой. И время расслоилось: оно умудрялось одновременно тянуться смоляной каплей от дня ко дню — и от минуты к минуте сыпаться сквозь пальцы пугающе быстро, с тихим звоном, непорядочным шорохом увядших цветов... Отпущенное время... Все сжималось во мне, когда я вспоминала, какой постаревшей, осевшей показалась мне Вера Вячеславна, когда открыла дверь в тот мой приход, перед самой поездкой. "Я совсем одряхлела, детка. Больше никуда не выхожу. Только в церковь да в магазин тут рядом". Она сказала так, будто что-то об этом мне уже известно, что-то я должна понять. И мне казалось, что я понимаю. И книга складывалась сама по себе, росла, открывалась из сцены в сцену, как анфилада комнат. И только ждала своих подробностей, ясного луча, который выделит из полумрака детских впечатлений события, лица ушедших и живых, великих и безвестных... Ответил ли что-нибудь Рахманинов тогда, на лестнице? Оленька... она ли стояла там, в темном коридоре? И кого Наталья Андреевна прятала в шкафу от немцев? А девочка, которая во время блокады корила себя за не доеденную когда-то сметану — выжила ли она? Не она ли та самая племянница, что вышла замуж за неудачника-живописца? И почему Верочкина семья уехала из Петрограда? От революции? Но почему тогда они не бежали за границу? А, может, просто отца пригласили в другой оперный театр? И как попала Верочка в семью Ортоболевских?

Я составила подробный список, пятьдесят шесть вопросов. Последний — о "Девушке в саду".

* * *

— Вера Вячеславна? У них все хорошо. — Глеб не понимает, что меня интересует, думает — новости. — Ольга Васильевна болела, но сейчас поправилась. К ним гости приехали из Чернигова. А вы зайдите к ним, они рады будут.

Конечно же, зайду. Глеб нужен мне для того, чтобы не нарваться на тот самый звонок, который я с тоской предчувствую. Я все-таки не научилась у них не бояться смерти.

— Клавдия Викторовна, голубчик, совсем слегла. Третий инфаркт. — Вера Вячеславна подается в сторону комнаты Клавдии Викторовны, не знает, надо ли меня повести к ней повидаться. Нет. Все-таки не стоит. — Она так переживает, детка. Не хочет переезжать. Она хочет умереть здесь. Разумеется, она права! Сто раз права. Кто же спорит? Но разве можно из-за этого откладывать капитальный ремонт дома? Она требует, чтобы подождали, пока она умрет. Да ведь и неизвестно же, когда это произойдет! Нам всем было бы лучше умереть здесь, но нельзя же ради этого оставлять людей в грязи! Люди столько лет добивались. Это не шутки. Тут намечена большая реконструкция, многим новые квартиры дают. Ты знаешь, у Глеба после реконструкции будет отдельная двухкомнатная квартира.

– Но вы-то как, в самом деле?!

– Ну что поделаешь... Придется переезжать на массив. Они ничем не могут помочь. Нет квартир в центре. Идти в отселенческий дом мы не можем, да мы и не доживем до конца ремонта.

– Господи! Неужели они сами не понимают, что вам нельзя на массив?

– Я им объясняла, детка. Я им сказала, что сюда к нам приходят, а в такую даль кто сможет выбраться? Все очень заняты. А он мне говорит: "Те, кто к вам сюда ходил, и туда поедут". Я ему сказала: "Я сама этого не допущу". Представляешь себе, детка, Петя, вечером, зимой, после работы – едет к нам, а потом еще домой возвращается. Но это все пустое. К нам в прошлую среду их начальник приходил, так он, знаешь, сам расстроился, когда увидел нас.

Вере Вячеславне становится смешно. Она, должно быть, всю эту сцену воспринимает со стороны: начальник, который шел торопить и ругаться, ошалевший в длинном темном коридоре, полном дверей; из-за каждой двери выбираются беспомощные перепуганные старухи – те самые "новоселы", нерасторопные, неблагодарные обладательницы ордеров на квартиры в шестнадцатипэтажных башнях, где-то там, за рекой, через мост, по песку, по лужам, по песку...

– А у вас есть кому помочь? Вы скажите, когда...

– Нет-нет! Спасибо! Не беспокойся, детка, нас перевезут.

Постучали в стену.

– Клавдия Викторовна...

Вера Вячеславна заторопилась в коридор. Она спешила тяжело и медленно. На плечах, горбом, высился толстый темный платок. Дверь осталась открыта, и слышно было, как она шуршит по коридору, как возникло где-то рядом новое пространство, и это новое пространство изменило звук коридорной пустоты. Я почувствовала, что рядом существует еще один мир – комната, где лежит Клавдия Викторовна, и вот сейчас в этой комнате они тихо переговариваются и даже как будто спорят. О чем? Как выглядит эта комната? Я никогда там не была. Я и к Ольге Васильевне не заглядывала ни разу, и к Наталье Андреевне... И, господи – до чего жалко! А поправить ничего нельзя. Даже если я сейчас же придумаю какой-нибудь повод... поздно... что-то в этом доме навсегда пропало, выстыло. Может, оттого они и завернулись, попрятались в шали – чувствуют холод натопленной комнаты. Где же он таится, этот холод? Отчего рассеялся привычный полумрак? Неужели и комнаты умирают, умирают раньше, чем их покинули люди, раньше, чем успели сдвинуть с места первую вазочку с отбитой ручкой, раньше, чем осыпался на пыльную доску комода цветок, увядший в прошлом веке... Все, что когда-то жило и дышало здесь, в теплых коричневых углах, утратило таинственную неясность, выставилось беспорядочно и жалко. Откуда-то – с улицы, должно быть, – набралась выморочная холодная синь...

Я вернулась домой подавленная и раздраженно отвечала на мамины вопросы. А мама возмущалась, говорила, что нельзя людей в таком возрасте трогать с места. И что надо бы хоть помочь им с переездом. "Ужас! Ужас! Где они возьмут деньги на переезд? И без того непонятно, как они сводят концы с концами. Разве что продадут что-то из своих старых безделушек, ведь это теперь – антиквариат!"

И я, содрогаясь от тоски, представила себе, как это будет выглядеть, когда понесут из их квартиры плешивые диванчики и трухлявые комоды, и станут сваливать на грузовик звенящие, рыхлые узлы, как явятся на слепящий уличный свет пожелтевшие портреты, изящно-строгие, полные глубокого достоинства и... усыпанные сзади рыжими точками тараканьего помета... И закачаются, замаются приткнутые в углу кузова аспарагусы и пальмы с надломленными в спешке листьями... А сами-то, сами они как поедут? В такси? Как повезут Клавдию

Викторовну? И что сделают с засохшими цветами? так и оставят? бросят? сметут на газету эти останки воспоминаний, на глазах рассыпающиеся в пыль... Зоя... Это будет Зоя. Она ловко подметет напоследок опустевшую каменную клетушку, мимоходом смахнет разорванную паутину в углу, и подумает, что комната была, оказывается, довольно светлая – и как им удалось заставить ее, захлать до такой коричневой темноты? И Зоя хлопнет дверью, впервые за много лет в этой комнате стукнет дверь – пыльный ангел падет на паркет... Но Зоя не вернется. И никому не даст вернуться и посмотреть, что это так загрохотало: "Скорее, скорее, Вера Вячеславна! Такси давно ждет!" И не даст проводить тяжело разворачивающийся черный "Беккер" с мотающимися канделябрами... Да и что его, действительно, провожать: ведь не на кладбище же везут этот черный гроб, взывающий изнутри медным воем при каждом ударе о перила и углы.

И еще я представляла себе удивление грузчиков, когда дойдет очередь до новенького проигрывателя "Вега". С каким удивлением уставятся они на мощные стереоколонки: и зачем это бабкам такая аппаратура? Танцевать, что ли? И что за драгоценности завернуты в ляньюлу скатерть, которую бородач с кольцом боится на секунду выпустить из рук...

Так я думала... А уже выпал снег, задрожали первые снежинки в синем окне, и снова возникла Верочка... Верочка отводила занавеску и смотрела в туман на темную удаляющуюся фигуру. Верочка догадывалась, что не любила его никогда. А просто дала себя вовлечь в эту семейную игру, где каждый исполнял свою банальную роль: радушный отец, тактичная мать, скромница-невеста и зрелый остроумный человек... трезво прикидывающий цену ее некрасивости... И вот теперь – не менее банальный – неожиданный отказ невесты... Не пожалеть бы ей когда-нибудь об этом! И что такое достоинство по сравнению...

Откуда это? С чего взялось? И могу ли я спросить ее: Вера Вячеславна, объясните мне, как случилось, что Вы не вышли замуж? Разумеется, нет. Но, может быть, она сама... как-нибудь в разговоре...

Я выбралась к ним не так скоро. Бумажка, на которой был записан новый адрес, затрепалась, буквы стерлись. Я не сразу додумалась обратиться к паспортистке ЖЭКа. Вечером, после работы, растрепанная и озябшая, я ехала за речку, через мост в рычащих от перегрузки автобусах. Я брела по снегу, заслоняя от ветра продрогшие цветы, и безнадежно тыкала прохожим бумажку с адресом.

Дверь мне открыл маленький мужчина в майке... Еще раньше, стоя за дверью, я знала, что их здесь нет. Но все-таки позвонила, все-таки спросила: "Здесь живет Опацкая Вера Вячеславна?" Из комнаты вышла женщина и трое мальчиков. "Вот и все", – подумала я и спросила:

- Давно вы сюда вселились?
- Давно. Сразу, как сдали дом.
- Тут две старушки должны были жить. И еще две – рядом.
- Вы, наверно, адрес перепутали, – засочувствовала мне женщина. – У нас – 10-б, а вы спросите в 10-а.

Я пошла в 10-а, по сугробам, по скользким цементным плитам. Высоко, до самого неба, светились окна. Я понимала, что они не могут здесь жить. Что-то было бы здесь, какой-то след, какая-то знакомая тень в этом воздухе, чистом и голом. И все-таки ходила от дома к дому, звонила, раздражалась от невинных запахов табака или борща, которые делали бессмысленными мои вопросы... "Две старушки – и еще две, рядом, через лестничную клетку"... Я описывала их девочкам, вышедшим из дому с коньками. Девочки нетерпеливо переминались, но им было любопытно, ничего подобного они в жизни не видали. Полно вокруг старух, но не такие, нет, таких здесь нет и вообще не бывает. Девочки ушли, переговариваясь и оглядываясь на меня.

– А мы в то время, детка, еще на Чеховской жили! Нам, знаешь, очень щедро давали квартиры, хоть каждой отдельно. На отдельную, правда, только Настя согласилась. Но потом мы поехали туда, посмотрели – и поняли, что это все-таки невозможно. Нас Глеб спас. Тебе он, наверно, Глеб Александрович. Так вот он добился в горисполкоме, ему какие-то списки дали, он весь город объехал, потратил целый месяц – и вот, подобрал нам эту квартиру. Мы так обязаны ему! Тут темновато, правда, но у нас все равно целый день горит электричество. И район замечательный, даже лучше, чем был у нас. С продуктами прекрасно.

– Вера Вячеславна, мне неловко спрашивать... я все думаю, как вы справляетесь?

– Что ты имеешь в виду, детка? Деньги или...

– И то, и другое.

– Сейчас, детка, много появилось служб, которые очень помогают таким, как мы. Из прачечной приезжают на дом, из магазина привозят продукты. Нам говорили, что они стараются всунуть все плохое – ничего подобного, они все лучшее привозят. Одежду я не покупаю, – она неловко умолкает. – Знаешь, как сейчас люди носят вещи... не носят, а так, надевают несколько раз, а потом выбрасывают. Мне знакомые приносят то, что им уже не нужно, и я с удовольствием беру... немного переделываю...

На ней свежее, опрятное платьице, синее с коричневыми цветочками, белоснежный воротник с широким рюшем приколот брошью.

– Прежде, знаешь, деточка, вещи лицевали, чинили...

Она говорит, как будто осторожно подсказывает мне что-то на всякий случай, на будущее, старается приободрить старуху, которой я когда-то буду. Что ж, действительно, можно жить, если удастся сохранить такой же ясный разум, если обрести умение так же спокойно принимать положенные по сроку невзгоды. Так устроена жизнь, и стыдно жаловаться на свою немочь, и низко высмеивать ее, над ней издеваться. "Я совсем одряхлела. Больше никуда не выхожу, так что, если тебе не трудно, детка..."

На открытом проигрывателе стоит пластинка. Видно, его выключили, когда раздался мой звонок. Две пожилые женщины на диване – я сразу же забыла их имена – продолжают прерванный разговор. Они обсуждают книгу. Насколько я понимаю, книга написана о знакомом им человеке. "Нет, этого не может быть!" – "А я вам клянусь: они бросали друг в друга ботинками прямо в оркестровой яме..." В кресле возле "Беккера", под серовской "Девушкой в саду" сидит парализованная бабка в двух платках. Она все порывается встать и уйти, но ее усаживают. "Нельзя! У тебя же побрызгано!" Бабка недовольна и бурчит, бурчит... К ее словам не прислушиваются, привычно и терпеливо пропускают мимо ушей. А мне-то казалось, что я опаздываю, что упустила время, я звонила с колотящимся сердцем, а на том конце провода снова оказался – покой, все по-старому, и медленно себе толчется время... Ольга Васильевна, придерживаясь за стену, несет к столу вазу с яблоками.

– Вот тебе нож, детка.

– Видишь, какие прекрасные яблоки? Это нам привезли вчера. И вообще должна тебе сказать, наша семья была довольно богатая, отец был генералом, но питались мы гораздо скромнее, чем питаемся сейчас, хотя у нас и маленькая пенсия.

– Генералом?!

– Да, детка. А что тебя так удивляет?

– Я всегда считала, что отец ваш был певцом.

– Нет, детка, но он пел. У него был прекрасный голос!

Вера Вячеславна не может понять, чем я так огорчена. И я решаюсь: я не буду выпрашивать, подходить окольными путями, я расскажу ей о своем замысле, о поездке в Ленинград...

– Не знаю, детка, зачем тебе это. Пиши лучше о том, что пережила сама. О своем времени пиши.

– Но есть же на свете исторические романы...

– Ну ладно, спрашивай. Я даже не представляю, что тебя может заинтересовать.

Она немного напряжена, ей не совсем по душе эта идея. И у меня у самой вдруг деревенеет язык. Я чувствую, как вымученно сейчас заговорю. Да! Ничего у меня не выйдет! И все-таки я пересиливаю себя, произношу – ступаю в холодную воду...

– Про Шаляпина... Помните, вы рассказывали, как его артисты побили перед спектаклем за то, что он грубил и...

– Что ты! Что ты, детка! – пугается Вера Вячеславна. – Шаляпин – великий музыкант! гений! Он вспыльчивый был. Но об этом писать совсем не нужно! О нем новая книга вышла недавно, изумительная книга, прочти обязательно! И к тому же он после этого пел прекрасно, как никогда!

– Ну ладно, – мысленно подчеркиваю я эпизод с Шаляпиным. Все равно, зачем он – раз в этой истории не участвовал Верочкин отец, раз не было на свете выдающегося тенора Вячеслава Опацкого...

– А Рахманинов?

– Что, детка, – Рахманинов?

– Помните, вы рассказывали когда-то, как они встретились... Вы тогда в консерватории учились... Прокофьев подошел и сказал ему: "Я вами очень доволен сегодня"...

– Ах вот ты о чем! Ну да, ну да, было такое. Это мне Кирилл рассказал. Помню, помню. Но с чего ты взяла, детка, что я училась в консерватории?

Стул подо мной плывет, плывет на подкосившихся ножках, но я удерживаю неизменившимся свое лицо.

– А где же вы учились? – продолжаю я, тяжким усилием подавляя неверные нотки в голосе. Так говорит человек, которого обидели и который скрывает свою обиду.

– Я занималась с частным педагогом. Прекрасный музыкант... он приходил на дом.

У Веры Вячеславны на лице – рассеянность, она отвечает мне, но про себя решает важный вопрос: не произошло ли когда-то нечто позорное; не обманула ли она когда-то ненароком людей, которые "нанимали" ее заниматься музыкой с детьми. Нет. Ей не в чем себя упрекнуть! Никто не спрашивал ее об образовании. А если попадался действительно способный ребенок, она сама настаивала на том, чтобы его отдали в музыкальную школу. Та же мысль созрела и у Ольги Васильевны, они обмениваются спокойными взглядами, Ольга Васильевна утвердительно опускает веки...

Я чувствую себя чуть ли не преступницей, но – на меня не сердятся, выжидающе смотрят, Ольге Васильевне даже интересно и явно хочется что-то рассказать. Я скручиваю жгутом бумажки с заготовленными вопросами.

– Я кончила только гимназию, детка.

– Почему же вы в консерваторию не поступили? Вы, с вашей музыкальностью, с вашей...

– У меня, собственно, была такая мысль. Мечта... – В улыбке ее – застенчивое извинение. – Но время так совпало... Я должна была идти сначала в училище, а для училища я уже была слишком взрослая. Понимаешь... оказаться вдруг среди детей... С этим, конечно, можно было и справиться... Но все равно, детка, в то

время везде надо было указывать социальное происхождение, а у меня с этим было скверно.

Она улыбается без грусти. Она разглаживает ногтем кусочек фольги от конфеты, так старательно, так по-детски... и все почему-то начинают следить за ее высохшими, жилистыми пальцами. Ольга Васильевна чистит яблоко и режет на дольки. Подсаживается с блюдцем к парализованной старухе, но старуха сердится, она не хочет яблока, она чего-то другого хочет. Как они только понимают этот отрывистый лепет?! Они берут старуху с двух сторон и тащат ее куда-то в коридор. Мне страшно: сейчас они хрустнут, эти сухонькие, сгорбленные спинки! – но они выдерживают и благополучно возвращаются с ней на старое место.

– Вера Вячеславна! А брошь вам в гимназии присудили?

– Какую брошку, детка?

– Ну вы рассказывали, где-то устроили конкурс, девушки играли, лучшей – дали золотую брошь...

– Нет, детка. Ты с чем-то путаешь. Не было такого. Ты же маленькая была, когда я к вам ходила.

Я не стала спорить. Я ясно помнила тот день. Зимой. Окно ломилось от солнца. Моя мама... Они говорили совсем о другом, о том, как зависть может испортить дружбу, и Вера Вячеславна вспомнила, как из-за этой броши лучшая подруга отвернулась от нее...

– А с Гнесиной вы знакомы через Ортобелевскую?

– Я не была знакома с Гнесиной, голубчик. А вот Софья Дмитриевна – самый дорогой мой друг! И Гурская, Варвара Леонидовна, – очень близкая приятельница.

Я поймала себя на том, что и Гурская стала казаться мне лицом легендарным, хотя когда-то в Москве она прослушивала мою сестренку. Впрочем, что мне Гурская? Разве что...

– А куда делся ее ученик – Сережа Дорожкин – помните такого?

– То есть что значит – делся? Сережа – профессор консерватории. Представь себе, такой молодой – и уже профессор! Он и гастролитрует много. Просто он не старается всех ослепить своей техникой, как сейчас принято. Он и сюда приезжал не так давно. Играл Шуберта. Причем даже самые простые вещи. Прекрасно играл! Ты ведь знаешь, я никогда не понимала Листа с его трансприциями.

Профессор. Ну и что? Что мне с этим делать? У меня устали щеки от вымученной улыбки...

Я очень обрадовалась, когда за мной приехал муж. Но он прихватил с собой нашего малыша, и мы опять надолго задержались. Мы пили чай с помадкой. Вера Вячеславна обсуждала с моим мужем какую-то книгу. "Прекрасная! Необыкновенная книга!" – все повторяла она. Я думала о своем, не прислушивалась, пока до меня не дошло, что речь идет о "Буранном полустанке". Вот чем Вера Вячеславна так горячо и задумчиво восхищалась! "Да, прекрасная..." Казалось невероятным то, что она прочла эту книгу, будто книгу прочел минувший век. Я пыталась глазами минувшего века, глазами кружевной старушки, генеральской дочки Верочки, увидеть все это яростно живое, раскосое... Я жалела, что разговор тут же и прервался. Мой сын освоился. Он стал расхаживать по комнате, рассматривал фотографии на стенах, заглядывал в книжные шкафы, таранился прямо в лицо грозному богу Веры Вячеславны: "Хорошая картина". Вера Вячеславна умилялась каждому его слову: "Подумать только! У тебя такой большой мальчик! Хороший такой! Глазастенький! Ты хочешь учиться играть на пианино, детка?" – "Нет, – сын покрутил носом, – не хочу". – "А музыку ты любишь?" – "Да, – ответил он. – Я люблю вот эту музыку" И фальшиво напел тему из третьей

части семнадцатой сонаты. "Бетховен? У тебя хороший вкус", – рассмеялась Вера Вячеславна. – "А вы умеете это играть?" – "Раньше я это играла, голубчик, а теперь не могу". – "Аа-а..." – кивнул мой сын.

– Я как-то была на концерте Рихтера, он играл семнадцатую сонату... Знаешь, ведь эта тема много раз подряд повторяется... и он играл каждый раз по-другому... необыкновенно! Я долго слушала про себя, все звучало в памяти... но потом – ученики выколотили...

И она как бы засыпает на секунду, как засыпала когда-то давно, в нашей тесной комнате, под деревянные детские пьески.

– Знаете, Вера Вячеславна, а ведь я только теперь поняла, какая это была мука – целый день слушать этюды Гнесиной! Я-то думала, что мука – только их играть.

– Гнесина, детка – прекрасный педагог. Но... Я как-то высказала Сонечке, Софье Дмитриевне, что пьесы у нее... не очень интересные. Сонечка считает, что они полезны для техники. Я все просила Сонечку составить детский сборник, выбрать красивые места из серьезных произведений... технически доступные, есть такие и у Моцарта, и у Бетховена, хоть бы эта же тема... Но Сонечка с маленькими не работала, ей неинтересно было. Я даже хотела сделать это сама, но так и не решилась.

– Ах, Вера Вячеславна! Сделали бы вы это – может, я бы и не бросила музыку.

– Да, жаль. Ты была способная.

Мой малыш заскучал, стал проситься на улицу. Вера Вячеславна вышла провожать нас, смотрела, как мы одеваемся, застегиваем пуговицы. Откуда-то просачивался запах хлорофоса.

– Кто эта женщина, больная?

– Это Настя, детка. Разве ты не знаешь?

– Настя?!

– Ну да, ну да, детка. Нам пришлось ее взять к себе. Понимаешь, у нас не было выхода: как раз накануне переезда ее разбил паралич...

Она расцеловала нас, передала привет маме и сестре, просила, чтобы мы зашли, когда сестра вернется. "Обязательно, обе вместе".

– Да! – оживилась она. – Может, тебе для чего-нибудь пригодится: мы жили в таком же доме, как вы. Это в Петербурге было, но один и тот же проект. И знаешь, в той же квартире, что и вы... Я очень любила бывать у вас. И даже с этим мальчиком, с соседом вашим – он очень неспособный был! – взялась заниматься только ради того, чтобы попасть в гостиную, там у нас гостиная была.

– А в нашей?

– В вашей – детская, – она в радостном напряжении подает вперед голову.

– Нас тоже двое было, две сестрички! Две сестрички...

* * *

Мы вышли на улицу, и я удивилась светлому накалу дня. Я чувствовала себя так, будто впервые вышла из дому после болезни. Легкости не было, – или это сыроватая тяжесть старинного дома придавила меня? Дом был крепкий, с массивными балконами, перилами, дверьми. Улица огибала заднюю стену музея, красивая, безлюдная улица. Высокие желтеющие кроны деревьев смыкались над мостовой, мостовая упиралась в отгороженное заборчиком знобюще-голубое небо. "Осень, – подумала я. – Все дело в осени, ни в чем другом". Что ж, мой замысел рухнул, но... Длинная вдохновенная травинка пробивалась сквозь его руины. Выцветшая на осеннем солнце, она то взблескивала, то пропадала.

Я не оглядывалась. Мне не нужен был этот дом. Я поймала себя на том, что не помню, как они расставили на новом месте мебель, стоит ли возле кровати ширма... мне казалось, что я все вижу, а видела я, должно быть, прошлое – и, может, давно уже видела только прошлое... Ну и что ж? Разве я оценщик из комиссионного магазина, чтобы пересчитывать и взвешивать? Вещи – они ведь только вещи. Хорошо, что есть Глеб, когда-нибудь он пригреет и упокоит их. А мне останется нетронутой комната с серо-малиновым полумраком по углам, с вертящимися ангелами, роняющими с небес розы, засохшие в прошлом веке. "Ты пря-а-а-лоч-ка-а-мо-о-я-а-а"... "Прекрасная, прекрасная книга!"

Что я знаю о Верочке? Какая разница, кем был ее отец! И что гадать, как она попала в этот город, в эту комнату? Что вглядываться в давнюю кутерьму передней, вслушиваться в усталый звон колокольчика, в лихорадочное радушие смутного времени? "Господи! Проходите, проходите, Вячеслав Леонтьич, дорогой! Ну как вы? Скажите скорее, что в Петербурге!" Две девушки, неловко жмушщиеся в передней... "Познакомься, Сонечка, это Верочка и Наденька, тоже прекрасные музыкантши!" – "Она простудилась в дороге..." – "Так что же все-таки говорят здесь..." – "Нет, Вячеслав Леонтьич, Скоропадский – не фигура..." Или, может, отец воевал в то время на Дальнем Востоке, и они приехали вдвоем, две сестрички. А, может, отец давно уже умер, и просто Наденьке необходимо было сменить климат? А она умерла все-таки, сразу же по приезде и умерла... И вот лежит теперь Наденька в суতোлке, в заросшей травами неразберихе старого кладбища, ждет, когда младшая сестра, сгорбленная, ссохшаяся старуха, юная Верочка, ляжет с ней рядом, как ложились когда-то рядом, плюхались, хихикая и дергаясь от холода... в той же комнате, где мы с сестрой, беззвучно смеялись, смотрели телевизор сквозь дырку в ширме. В соседней комнате, за кое-как забитой дверью, ссорились соседи, голоса их то удалялись, то звучали совсем рядом: ведь комната была очень большая, и голос Верочкиного отца широко расходился, ударялся в стены, возносился ввысь – и все звучало... а Верочка в облезлой рыжей шубе торопливо семенила к нашему дому, предвкушая радость встречи. И позднее, когда мы переешукали из старого дома, снова вернулась туда, взялась учить тугоухого мальчишку, который прятал ноты и пачкал клавиши пластилином. Она слушала голос отца, пока оттирали клавиши и бранили Славку. "Я очень люблю у вас бывать. Здесь все такое же! – Она обводила нашу комнатку восхищенным взглядом. – Даже рисунок паркета! Даже дверные ручки!"

Не этим ли она вызывала мое отчуждение и обиду? Я ревновала. Я чувствовала, что она – хозяйка в моей комнате, такая же, как и я, что моя комната заселена ее воспоминаниями. Она видела что-то по углам, что-то, чего не видела я, и я напрягалась, пытаясь различить в своей комнате смутные тени чужого детства. Пыталась услышать музыку, которую слышала она – слушала и загораживала, прикрывала от нас тонкими морщинистыми веками... И раз – и два – и три – и...

И только тогда, когда сама я ушла из этой комнаты навсегда и стала заглядывать в собственные окна, в которых горел чужой свет и двигались чужие силуэты, я поняла Верочку и признала ее права. Мы стали сообщницами, мы обе знали об этой комнате больше, чем люди, поселившиеся в ней, нам навечно принадлежали дверные ручки и крестики паркета, и мраморные плиты парадного... Ей тоже снится, будто она возвращается туда, в свою старую комнату, в детскую, прикрывает спиной гладко выкрашенную дверь, привычно подходит к окну и, положив локти на широкий прохладный подоконник, смотрит, как блуждают за стеклом непадающие снежинки... Смотрит в свое будущее – или в свое прошлое, которым когда-то случайно поделится со мной и которое, преломившись в ослепительном калейдоскопе детской памяти, станет частью, сказкой моей

жизни. "Я очень доволен вами!" И рука Рахманинова чуть задерживается на перилах... И Верочка опускает голову, быстро проходит мимо, прижимая к груди... К чему же мне теперь правда? Что изменит она?

Я просто позвоню. Спрошу, как здоровье, не надо ли чего-нибудь принести. А еще лучше – подойти сперва к Глебу и спросить, давно ли он был... И Глеб ответит мне со своей особенной приветливостью, и я поблагодарю его с таким же реверансом – не даром, не даром кружились над нами гипсовые ангелы, не даром звенели засохшие цветы... Я уже примеряю платье, коричневое, с оборчатым крахмальным воротником, коричневое платье, в котором, нелепая и обязательная, буду являться первая в одиннадцатом ряду партера, доживать свой девятнадцатый век...